ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

№ 19 МАЙ 1990



1945-
-1990

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Учрежден 1 апреля 1923 года

№ 19 (3277)

ИЗДАТЕЛЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА»

5 — 12 мая

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Фотоплакат Бориса ЯКОВЛЕВА

Оформление Е. Н. КАЗАКОВА
при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 12.04.90. Подписано к печати 27.04.90. А 09442. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 2170. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

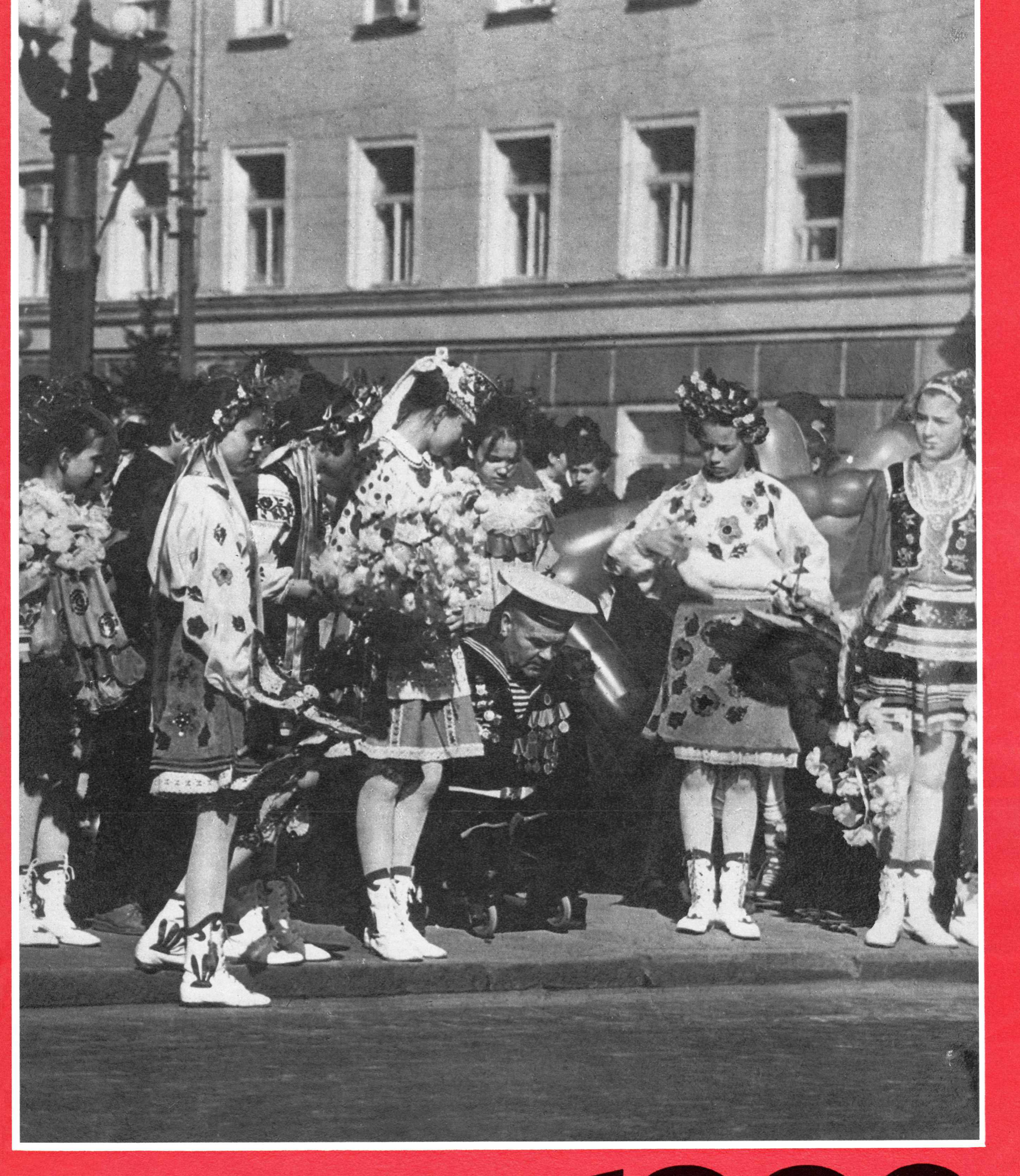
Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

1945-



-1990

Константин СМИРНОВ

Мы родом из войны...

Брат появился в марте сорок первого, и отец, вернувшись через год после Победы, получил уже готового человека, пусть и еще мальчонку, но, в сущности, чужого — им надо было привыкать друг к другу. А ему, как и миллионам других отцов, провоевавших детство собственных детей, нужно было пропустить через личный опыт таинственный и мистический процесс появления нового существа с душой и телом. Так было зачато мое поколение...

Я родом из войны, хоть и родился в начале 50-х, когда все ее не поддававшиеся ретуши фрагменты, судьбы и лица были выдраны из панорамы и затоптаны на всем протяжении огромной страны — от Колымы до моей Марьиной Рощи, с ее безногими инвалидами, черными вдовами, косыми халупами, забывшими мужские руки. И запах горя, чудовищного, непоправимого, долгие годы тревожил воздух.

Мы родом из войны. И те, кто воевал, и те, кто никогда не видел собственными глазами ее отдаленных результатов, и даже те, кто еще не родился сейчас. И никакой генной инженерией, надеюсь, не исправить нашей природы — мы родом из войны. Она была и осталась.

Одна на всех. На весь мир. На всех людей.

Люди смотрят на нее. Без малого полвека разглядываем мы войну в мельчайших подробностях, вроде тех, что видите вы сейчас. То с той, то с другой стороны.

Наши фотографии и «осколки», долетевшие оттуда.

«Показательная» порка неизвестного русского мужика в валенках дорого обошлась экзекутору — на нижнем фото еще более показательная «порка» гитлеровской армии на улице Горького летом 44-го...

Продолжение см. стр. 24.



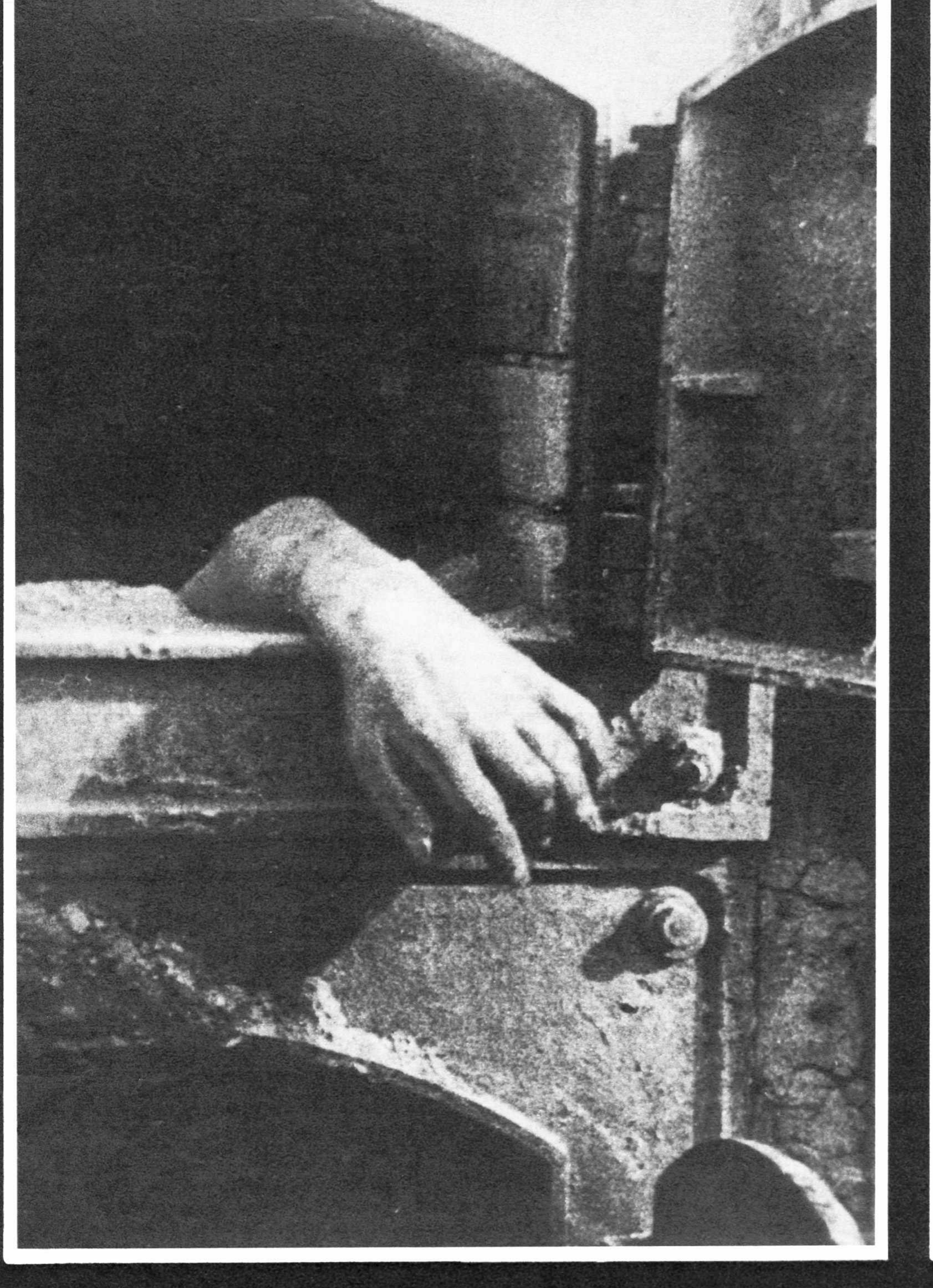




Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА, Марка МАРКОВА-ГРИНБЕРГА, Ивана ШАГИНА и Яна ЧИГИРИНСКОГО.





НАША СТАТИСТИКА: **К 1 января нынешнего года у «Огонька» было 4 454 573 подписчика, а к 1 мая — уже 4 506 009 подписчиков. Спасибо!**

■

Все дальше отдаляются от нас годы войны. Не часто, но все же появляются в печати сообщения о тех, кто волею судьбы оказался в фашистском плену или был угнан в Германию на принудительные работы. Многие из этих людей и там сражались с гитлеровцами, бежали из неволи, были во французском подполье, воевали вместе с итальянцами в партизанских отрядах.

Я же хочу вспомнить о небольшой группе советских граждан, сражавшихся в составе действующей американской армии. Об этом, насколько я знаю, наша пресса еще не писала. Конечно, не от них зависел исход войны, но и эти люди мужественно сражались рядом с американскими солдатами, гибли и проливали кровь во имя общей цели — Победы над нацистской Германией. Это советские военнопленные, работавшие в Сааре, бывшие узники лагерей, бежавшие из-под конвоя.

После освобождения американской армией около ста человек добровольно вступили в ее ряды и были зачислены в 180-й полк 45-й дивизии 7-й американской армии и прошли вместе с нею боевой путь от Рейна до Альп.

Автор этих строк, свидетель тех боевых дней, участвовал в боях за города Бамберг, Нюрнберг, Мюнхен, форсировал Дунай. Закончил войну рядовым минометной роты в городе Фюрстенфельдбруке. Из ста человек в живых остались только тридцать два. Многие погибли затем в сталинских лагерях в Сибири.

А тогда вместе со мной в американской армии воевали москвич Анатолий Киселев, Корнеев из Ленинграда, Станислав Ордынский из Бердичева, Василий Бибик из Кировоградской области, погибший у меня на глазах, Николай Гонте, который жив и по сей день. Может быть, и ветераны-американцы помнят тех русских парней, с которыми вместе оканчивали войну.

В дни Великой Победы хотелось бы, чтобы откликнулись однополчане в нашей стране и в США и написали по адресу: 261400, Бердичев Житомирской области, ул. Ново-Ивановская, 42, кв. 12.

Пока живому

Василию НЕДОРЕЗАНЮКУ.

■

Наблюдаю за страстями и эмоциями, которые продолжают кипеть вокруг льгот и привилегий наших высокопоставленных партийных и государственных чиновников, слежу за дискуссией, развернувшейся по этому вопросу в печати, на заседаниях Верховного Совета СССР, и не знаю уже, кому верить.

То с высокой трибуны XIX партконференции нам говорили, что у партии нет никаких льгот и привилегий, то, оказывается, льготы и привилегии все-таки есть, но они такие же, как и у других общественных организаций и некоторых предприятий, по словам Е. М. Примакова на втором Съезде народных депутатов СССР. Потом разговоры о 4-м Главном управлении при Минздраве СССР провели под лозунгом «Нужно больше создавать, а не перераспределять» и передали эти сказочные больницы и санатории лечебно-оздоровительному объединению при Совмине СССР.

Затем в газетах стали появляться фотографии роскошных особняков — государственных дач с фамилиями лиц, до недавнего времени в них проживавших и оставляющих эти дачи (в связи со строительством Северной ТЭЦ) детям.

И вот тут-то, выступая в Комиссии Верховного Совета СССР по льготам и привилегиям, Александра Павловна Бирюкова объяснила нам всем, что, оказывается, В. И. Ленин еще в период гражданской войны основал систему привилегий, и наши высокопоставленные чиновники до сих пор боятся нарушить этот «завет», хотя среди них уже давно нет ни одного только что вернувшегося с царской каторги или из окопов гражданской войны.

Про личную скромность Владимира Ильича забыли, а вот про скудные льготы бывшим царским ссыльным и каторжанам до сих пор помнят! Если следовать такой логике, то можно прийти к утверждению, что и Октябрьскую революцию В. И. Ленин возглавил, чтобы отобрать привилегии у одних и отдать их другим.

Думаю, что не стоит в нашей истории выискивать оправдания не заслуженным у народа льготам и привилегиям. А то ведь так можно добраться и до указов российских императоров, поощрявших своих отличившихся подданных за заслуги перед Отечеством. Именно за заслуги, а не за преданность аппарату, ибо положительных результатов деятельности многочисленных функционеров что-то не видно.

Б. ЛЕВАГИН,
член КПСС с 1958 года,
ветеран труда

■

В октябре прошлого года мой сын был призван в ряды Советской Армии и через два месяца службы направлен в Закавказье, в район НКАО, как и многие другие москвичи-новобранцы. До настоящего времени находится в этом районе, известия от него поступают крайне редко.

Отовсюду слышатся призывы к милосердию, но почему же так безжалостны мы к боли матерей, к судьбам детей? Сколько еще слез будет проливать русская женщина? И почему национальный вопрос решается кровью наших детей?

Как мать, требую дать гарантии безопасности жизни наших детей и вернуть их на службу в Россию.

И. И. КАРЫМОВА
Москва

■

Прочитала в № 50 за прошлый год письмо маршала С. Ф. Ахромеева и хочу высказать свое мнение. Не берусь судить обо всех армейских проблемах: я в этом некомпетентна,— но расскажу лишь о том, с чем пришлось столкнуться мне, матери парня, прошедшего все мучения службы в инженерно-строительных войсках.

25 мая 1987 года мой сын Кочмарук И. А. был призван, несмотря на жалобы на состояние здоровья, на действительную службу (у него врожденная патология опорно-двигательного аппарата). Я бы хотела знать: делалось это по чьему-либо приказу — брать всех подряд — или по невежеству медкомиссий? Так или иначе сын попал на службу в инженерно-строительные войска, выполнял тяжелую физическую работу, опасную, как оказалось впоследствии, при его диагнозе. Изнурительный физический труд, издевательства «дедов», ни выходных, ни увольнений. Бесправный, больной, вконец взвинченный, он пишет письма домой, полные отчаяния (они у меня все хранятся, эти письма-обвинения армейскому строю). Много раз он обращался в санчасть с жалобами, но на него там не очень-то обращали внимание. Я писала письма командиру, приезжала в часть. Пыталась обратить внимание замполита на состояние сына. Реакция майора была своеобразной. «Пусть ноги моет, они у него болеть не будут»,— цинично заявил он. После неоднократных просьб сына все же отправляют на консультацию в Москву. Разные врачи и реагировали по-разному. То ему говорили, что, раз его призвали служить, пускай служит, то обвиняли в лени, некоторые прямо заявляли, что больные органы на здоровые ему никто не заменит и пусть не морочит голову. Потом предписали «легкий труд». Но состояние резко ухудшилось, он стал совсем плохо ходить, упал, сломал руку. Лечили в Подольском окружном госпитале. Через три месяца выпустили без каких-либо документов о состоянии здоровья. Дома ходил, держась за стены. В Киевской больнице завотделением ревматологии сказал: «Его ни в коем случае нельзя было призывать в армию. Состояние ухудшилось вследствие физических перегрузок. Теперь ему нельзя долго оставаться в одном положении. Надо постоянно менять положение тела — посидеть, походить, полежать».

Теперь скажите, где найти такую работу, чтобы и посидеть, и полежать, и походить? Он остался без средств к существованию. Чем прикажете ему питаться — патриотизмом? Лозунгами? Как мне теперь читать слова маршала Ахромеева о том, что «весь уклад армейской службы воспитывает из воина и духовно, и физически защитника социалистического Отечества», если мой сын пришел домой сломленный и физически, и духовно? Так ли уж нужен был мой больной сын Вооруженным Силам? Кто выиграл от того, что он, промучившись больше двух лет, вернулся домой искалеченным? Стала от этого сильнее мощь нашей армии? Или, может быть, мы, его родные, получили от этого радость?

Вылечить сына не берется никто, работать он не может, ходит с трудом. Кто должен платить ему пенсию? Ведь состояние его ухудшилось из-за службы, значит, он инвалид армии?

О. КОЧМАРУК
Острог
Ровенской области

■

Более десяти лет я отработала на заводе. Затем по семейным обстоятельствам вынуждена была уволиться и полгода ухаживала за больным ребенком. Затем вернулась на работу. Каково же было мое удивление, когда после болезни мне по больничному листу выплатили только 50 процентов среднего заработка, столько же, сколько и работающей рядом со мной 18-летней девочке со стажем в один год.

Мне объяснили, что у меня прерван стаж и теперь он снова начинается с нуля. Не могу понять, почему те 10 лет, которые я трудилась «на благо Родины», вычеркнуты? Где логика? Работал человек, значит, есть у него стаж, не работал, значит, нет стажа, а игра в слова «прерывный», «непрерывный», «по переводу» — зачем все это? Такое могли придумать только бюрократы. Ничего, кроме недоумения и раздражения, у рабочего человека это не вызывает.

Елена ЧЕРВИЦЕНКО,
монтажница
Киев

■

Мы с мужем оба пенсионеры, отработали почти по 40 лет, вышли, как теперь говорят, на заслуженный отдых и сразу столкнулись с некоторыми проблемами.

Все товары повышенного спроса — вроде швейных машин, телевизоров, холодильников — продаются либо участникам войны и инвалидам, либо распределены по предприятиям. Исполком райсовета пенсионеров ни в какие списки не включает: нет у него списков для пенсионеров.

Хочу задать вопрос и получить ответ: где нам можно купить цветной телевизор, пылесос, обувь и другие вещи?

Получается: пока ты работаешь, ты вроде нужен, но как только оказался на пенсии, для тебя закрыты все двери.

Грустно и обидно за нашу власть, которая довела страну до такого кризиса, а еще больше — за себя, что стал ты, как половая тряпка,— вытерли о тебя ноги и выбросили.

Н. М. ХРАПКО
Волгоград

■

Говорят, что в стране нашей непредсказуемо не только будущее, но и прошлое. С сожалением приходится констатировать, что от непредсказуемости прошлого, оказывается, не застрахованы и другие страны — даже добрая старая Англия. В этом поневоле убеждаешься, читая в стенограмме мартовского Пленума ЦК КПСС следующее сногсшибательное утверждение: «Томас Мор 450 лет тому назад, будучи лордом-хранителем печати, за коммунистические убеждения был казнен. Но он спокойно шел на это, чтобы отстоять свое мировоззрение». Интересно было бы спросить у автора сего открытия: как он представляет себе церемонию этой казни? Очевидно, было зачитано об-

ДИССЕРТАЦИИ ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ И ГЛАСНОСТИ ●
ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ ●
ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ПОЛИТКАТОРЖАН ●
ЗА ЧТО КАЗНИЛИ ТОМАСА МОРА? ●

винительное заключение, где черным по белому предписывалось «обезглавить оного коммуниста»? А мы-то по своей лености и нелюбопытности полагали, что Томас Мор обезглавлен был всего-навсего за отказ признать Генриха VIII главою английской церкви и за выступления против Реформации! Да и Рим-то как опростоволосился, канонизировав покойного лорда-канцлера в 1935 году!

Это историческое «открытие» принадлежит Р. Г. Яновскому, который является ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС. Хотелось бы только знать, кого оно больше характеризует: автора или Академию общественных наук, которую он возглавляет?

И. РАТКЕ
Новошахтинск Ростовской области

■

Еще с трибуны XIX партконференции прозвучало: «Восстановление социальной и исторической справедливости по отношению к жертвам незаконных репрессий — наш политический и нравственный долг». Да, это наш общий долг перед людьми, которые до сих пор ждут полной реабилитации, причем для жертв 50—80-х годов даже юридическая реабилитация практически лишь начинается.

Государство тем более не торопится компенсировать им материальный ущерб, забывая, что это вопрос не только юрисдикции, но и политики. По данным Всесоюзного общества «Мемориал», число оставшихся в живых реабилитированных по стране не превышает 40 тысяч человек. Не пора ли нам — пусть и с большим опозданием — хотя бы частично вернуть им долги? Кощунственно измерять горе людское в рублях, да еще нынешних, но другого способа мы пока не знаем. Не так уж много средств на это понадобится, если выплачивать по тысяче рублей за каждый год, проведенный в тюрьмах и лагерях.

Не раз с самых высоких трибун звучало, что КПСС признает свою ответственность за «ошибки» прошедших лет. И вот создалась ситуация, когда партия может делом подтвердить реальность этой ответственности, приняв на себя расходы по возмещению ущерба пострадавшим от «ошибок».

Доход КПСС только от членских взносов составляет около полутора миллиардов рублей в год. И если партия передаст часть годового дохода от членских взносов в счет компенсации, то этого будет достаточно для выплаты основного долга.

Считаю, что Верховный Совет СССР должен принять постановление «Об ускорении реабилитации жертв незаконных репрессий».

Один из наказов избирателей — восстановление исторической и социальной справедливости. Юридическая и моральная реабилитация жертв незаконных репрессий — наш политический и нравственный долг, долг всех живых, задача первостепенной важности, от решения которой сегодня в значительной мере зависят престиж перестройки, моральный облик правящей партии.

Во исполнение гражданского и человеческого долга, в интересах перехода к правовому государству комиссии по реабилитации необходимо принять все меры, включая привлечение дополнительных сил, для ускорения полной реабилитации репрессированных вплоть до 80-х годов по политическим мотивам и за религиозные убеждения, с тем чтобы завершить работы к 1991 году. И вместе с решением о реабилитации выплачивать денежную компенсацию жертвам незаконных репрессий из фондов партии.

В связи с продолжающимися обращениями граждан о наличии в стране заключенных по политическим мотивам пора также создать комиссию из народных депутатов СССР для рассмотрения каждого конкретного случая.

Большой вклад в дело увековечения памяти жертв незаконных репрессий и заботы об оставшихся в живых вносит Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал», до сих пор официально не зарегистрированное. Настало время реализовать конституционное право граждан на объединение в общественные организации и рекомендовать исполнительным органам Советской власти произвести регистрацию Всесоюзного общества.

А. ЩЕЛКАНОВ,
народный депутат СССР

■

Как вы думаете, какие темы для докторских диссертаций могут быть на шестом году перестройки?

Предлагаю взять в руки Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совмине СССР № 1 за 1990 год. В разделах «Исторические науки» и «Философские науки» содержатся такие объявления о защитах докторских диссертаций:

«Деятельность партийных организаций Казахстана по воспитанию у рабочих промышленности творческого отношения к труду (1959—1970)»;

«Руководство КПСС развитием и укреплением экономического сотрудничества советских республик в 60—70-е годы (опыт Казахской ССР)»;

«Партийное руководство формированием кадров интеллигенции в Узбекистане (1961—1985)»;

«Научно-атеистическое воспитание сельского населения Узбекской ССР в 60—80-е годы»;

«Интернационалистские ценности советского народа как новой исторической общности людей (теоретико-методологические аспекты)».

И так далее и тому подобное. Что тут можно добавить? По-моему, комментарии излишни.

О. БОНДАРЕНКО,
журналист
Донецк

■

В прошлом году общество «Итало-советские инициативы» приобрело в Италии в дар воинам, сражавшимся в Афганистане, оборудование для протезной мастерской. Получилось так, что у Союза воинов-«афганцев» не оказалось ни помещений, ни материальной базы для организации производства, а Центральному институту травматологии и ортопедии (ЦИТО) и его опытно-экспериментальному предприятию необходимо было именно такое современное оборудование.

К общему удовлетворению, мы заключили соглашение: наше предприятие получило технику с условием, что преимущественное право протезирования принадлежит «афганцам».

Пока готовили помещение и оборудование совершало путь в Союз, два наших специалиста прошли месячную стажировку под Римом. Сейчас начинаем монтаж и в скором времени приступим к протезированию. Вместе с техникой мы получили в дар тридцать комплектов полуфабрикатов — это на месяц работы.

Через год мы сами начнем выпускать узлы и детали, соответствующие итальянской технологии, есть планы создания совместного предприятия. Но сейчас, чтобы оборудование, которого так долго ждали искореженные войной люди, не простаивало целый год, необходимо 300 комплектов полуфабрикатов, то есть около 200 тысяч долларов.

Поэтому мы обращаемся ко всем, кто располагает валютой и хотел бы помочь не только воинам, пострадавшим в Афганистане, но и развитию протезного дела в стране:
счет ЦИТО (для опытно-экспериментального предприятия) № 901595692 во Внешэкономбанке СССР.

Г. БУЛГАКОВ,
директор
опытно-экспериментального
предприятия ЦИТО

■

Стройка-гигант у станции метро «Семеновская» в Москве началась в 1974 году. В ту осень мой старший сын пошел мимо ее забора в детский сад. Прошло три года, сын пошел в школу, затем окончил ее, был призван в ряды Советской Армии. В этом году он возвращается домой, а строительство института «Энергосетьпроект» продолжается, и конца ему не видно.

В 1984 году мимо этого забора (десятки раз перекрашенного) пошел той же дорогой в тот же детский сад мой второй сын. И все повторилось, как прежде. Сейчас он заканчивает второй класс, а воз, как говорится, и ныне там. За те прошедшие годы в Москве были построены Олимпийская деревня, Измайловский гостиничный комплекс и многое другое. А это чудо архитектуры строится до сих пор. И, как злым укором ему, стоят напротив недавно построенные за каких-то два-три года новые здания фабрики «Красная заря», и, что удивительно, подрядчик тот же — СУ-12 треста «Мосстрой-2».

Похоже, что здание это достойно войти — как роковой пример — в известную серию «Биография московского дома».

Евг. ВАНДЕЙК

■

Раскрываю «Правду», читаю сообщения ТАСС: «Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков прибыл с официальным визитом... по приглашению правительства страны». «Член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе принял посла... по его просьбе». Как Н. И. Рыжков, так и Э. А. Шеварднадзе выступают тут в качестве представителей государства, но отнюдь не КПСС. Так с какой же целью в сообщениях прежде всего указываются их партийные функции? Видимо, для придания нашим представителям большего веса. Но соответствует ли это нынешним представлениям о строгом разделении функций партийного и государственного аппарата? Обращает на себя внимание и то, что партийная должность выносится на первое место. Разве этим не подчеркивается, что КПСС фактически стоит выше государства?

Как бы мы удивились, если бы, например, во время переговоров между СССР и Великобританией Маргарет Тэтчер именовалась «лидером консервативной партии, премьер-министром Великобритании»...

А. С. БЕРСОН
Ленинград

«Эта выставка не имеет себе равных в Европе!.. Спешите смотреть искусство из страны перестройки и гласности!..» — приглашала газета «Тагеблатт» жителей Люксембурга в один из филиалов генерального банка, где развернулась экспозиция произведений современных советских художников. Напомним, что мы рассказывали о ней в девятом номере журнала.

Другие оценки прессы были столь же восторженны. Приятно, что рецензенты отмечали не только высокий уровень работ художников, но и роль «Огонька», который выступил своеобразным организатором этого мероприятия.

Редакция журнала благодарит посла СССР в Люксембурге А. А. Авдеева и всех сотрудников посольства, а также генеральный банк Люксембурга и посольство Люксембурга в Москве за содействие и помощь в организации и проведении выставки.

М. ДМИТРИЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшей публикацией марта читатели назвали статью «След от шляпы Ю. О.», напечатанную в № 10. В связи с этим ежемесячная премия американской фирмы КОМПЬЮТРЭЙД ИНТЕРНЭШНЛ, ЛТД присуждается автору статьи Вячеславу КОСТИКОВУ.

ПРОШУ СЛОВА!

Лев ГУДКОВ

КРЕПОСТНАЯ ПЕЧАТЬ

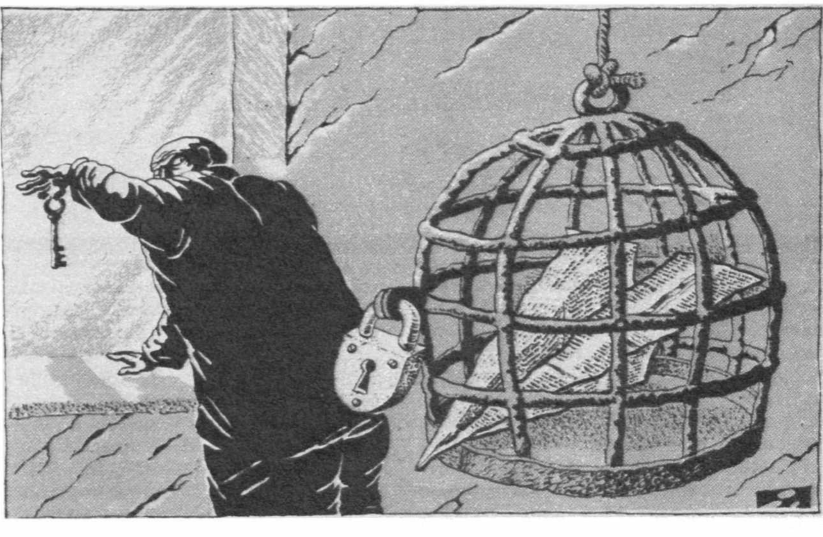


Рисунок Алексея МЕРИНОВА.

В январе я, как и несколько десятков или сотен тысяч жителей Москвы, не получил ни одного номера «Аргументов и фактов». Запаздывают многие журналы. В Латвии и Закавказье сокращен выход многих газет. Говорят, нет бумаги, сложности с типографиями. Ответственные лица из Госкомпечати или Минсвязи в очередной раз уверяют, что во всем виновата сама публика — слишком много читает, выписывает, покупает (как и ест, моется, лечится). А может быть, даже и не читает, а так — из стадного чувства и модного подражания (кому?) покупает книги, украшая ими интерьеры своих квартир. Как ни убоги эти рассуждения, они регулярно повторяются — недавно, например, нас снова одарила ими газета «Правда». Пусть читатель относится к ним, как к привычной демагогии начальства (успех борьбы за отмену лимитов на подписку сильно укрепил его в этом «заблуждении»),— он беспомощен...

В СТРАНЕ АГИТАТОРОВ И ПРОПАГАНДИСТОВ

Еще в феврале 1989 года опросы общественного мнения показали, что 90% населения страны считают изменившуюся работу печати и ТВ единственным позитивным результатом перестройки. Но уже к лету эта оценка несколько понизилась — сказалось недовольство тенденциозным освещением межнациональных конфликтов и забастовок шахтеров, деятельности новых общественных организаций и движений, одномерная критика Сталина и советской истории и т. д. Повторенный через год опрос подтвердил эту характеристику печати — читающая публика оказывается более радикальной и критичной, нежели пресса и особенно телевидение, подвергающееся сильнейшему аппаратному давлению, особенно после прихода нового руководства с его опытом надзора над издательствами и периодикой. Читатели требуют от печати гораздо большей аналитичности и глубины, смелости и свободы слова, нежели это отпускается сегодня ей инстанциями информационной госбезопасности. Поэтому читательская избирательность резко усилилась.

Однако сама печать по-прежнему находится в жестких ежовых рукавицах. Нет бумаги. Особенно ее нет для новых издательств с отличными от официоза идеями и программами. Межрегиональная группа депутатов не в состоянии издавать свою газету (в какой еще демократической стране оппозиция не имеет слова?). Негде печататься «Апрелю». Нет бумаги для научных или литературных кооперативов. Нет типографий...

А для кого есть и бумага, и типографии? Как вообще распределяет бумажные ресурсы бывший Госкомиздат? Заглянем в справочники. Возьмем для краткости только журналы.

Больше всего бумаги — 49,5% всего объема, идущего на издание всех журналов в стране,— уходит на выпуск общественно-политических и социально-экономических журналов. Подавляющая часть из них — агитационно-пропагандистская продукция, завалившая все киоски от Москвы до самых до окраин своими нереализуемыми остатками, а также издания различных ведомств и министерств. Стоит взглянуть на витрину любого ларька «Союзпечати» — и мы увидим «Проблемы мира и социализма», «Партийную жизнь», «Выставку достижений СССР», «Экономическое сотрудничество стран — членов СЭВ», «Знаменосец»... Что образует мертвый, нечитаемый фонд периодики в библиотеках, списываемый через два года хранения по инструкции? Пропагандистские и ведомственные издания — «АПК: экономика и управление», «Достижения науки и техники АПК», «Агропром Украины», «Экономика Советской Украины», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Экономика строительства», «Кадры партии», «Материально-техническое снабжение», «Социалистическое соревнование», «Социалистический труд», «Слово лектора», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Распространение печати», «Бытовое обслуживание», «Военные знания» (орган гражданской обороны) и сотни других. В стране выходит 399 общественно-политических журналов и 400 бюллетеней этого же рода, 76 блокнотов агитатора. К ним следует добавить еще 389 журналов отраслевых министерств (не считая множества изданий собственно научно-технической информации, сомневаться в целесообразности которых не приходится).

На издание всех литературно-художественных журналов даже с учетом резкого роста тиражей требуется почти в три раза меньше бумаги, чем для общественно-политических,— 18,5%. Но это по объему. По количеству названий их существенно меньше: всего 135 журналов, издаваемых строго по административно-территориальной союзписательской иерархии,— несколько в столицах и по одному в областных и республиканских организациях. Разумеется, не все журналы и бюллетени по общественно-политическим проблемам являются кладбищами слов. Среди них десяток-полтора (но и не больше) замечательных исключений — «Век XX и мир», московский «Горизонт» и другие.

Иными словами, журнальная сеть в стране — отражение господства ведомственной и партийно-идеологической бюрократии, монополии на информацию и печатное слово. Сегодняшний плач по культуре звучит странно и лицемерно в стране агитаторов и пропагандистов.

Известно, что плотность структуры периодики — это развитость общественного самосознания, его способности анализировать текущие процессы в науке, культуре, политике, экономике. Это возможность представить и обеспечить разнообразие мнений, взглядов, позиций и интересов. Но это же и средство рефлексии над новыми результатами и материалом исследования, механизмы введения нового в общественную и умственную жизнь. Функции нашей же периодической печати — воспитывать и убеждать. Собственно научных журналов, даже среди общественно-политических или экономических, очень мало. Хотя по числу названий научные журналы (вне зависимости от области знания) представлены на первый взгляд довольно прилично: каждый четвертый журнал (415 названий) — научное издание, в целом они потребляют ничтожное количество бумаги, предназначенной для негазетной периодики,— 1%. Это в 8,5 раза меньше, чем приходится на чисто партийные журналы, многократно разжевывающие и доводящие до каждого из нас идеологические и практические установки руководства. Чтобы было понятней, сколько же это, какое количество бумаги сегодня необходимо для издания всех научных журналов в СССР, вместе взятых, скажем, что ее требуется лишь немногим больше, чем нужно для печати такого издания, как «Молодая гвардия».

ГОЛОД НА ИНФОРМАЦИЮ

Бедность нашей периодики поразительна даже в сравнении с 1913 годом. В 1988 году издавалось 1578 журналов различной тематики и назначения. До революции же в России выходило свыше 8 тысяч журналов. А с развитыми странами Запада мы вообще не можем равняться. В ФРГ, стране с численностью населения впятеро меньшей, чем в СССР, выходит 1268 **научных** журналов, в США же их — 18,5 тысячи! Только по социологии, предмету мне близкому, издается 290 изданий (у нас — 2). Всего же в США имеется 59 609 журналов по самым разным темам и адресованных самой разной аудитории.

Номенклатурное распределение ресурсов (в том числе бумажных или полиграфических) слабо связано с читательским вниманием и спросом. За последние несколько лет общий рост тиражей на периодику не превышал в среднем 2,5—4% всего объема. Но эти показатели скрывают резкую дифференциацию изданий по популярности. Сегодняшняя разнородность и явные, принципиальные различия редакционных программ отражаются в характере читательской поддержки, ее динамики, а соответственно — в объемах индивидуальной подписки в тираже. До известной степени некоторые центральные издания, пользующиеся правом «идеологически сильного», могли сохранять высокие показатели тиражей при снижающейся подписке, но сегодня это делать все труднее.

Динамика этих колебаний — весьма надежный индикатор или барометр общественных настроений, отмечающий даже незначительные изменения в политике той или иной редакции, ее чувствительность к событиям, способность подхватывать новые идеи, становящиеся значимыми для читателей.

Журнальный бум, начавшийся в 1987 году, свидетельствовал о реакции общества на идущие изменения, быстрое усвоение того, что наработано за двадцать лет застоя, но что не могло ранее выйти к публике. Социологический анализ резкого роста тиражей нескольких литературных журналов (равно как и «Огонька», поскольку он выступает в читательской подписке в тесной связке с другими изданиями) говорит о том, что это движение до последнего времени шло в одном социальном слое, представляющем собой наиболее образованные группы, то есть наиболее активную часть общества. Увеличение тиражей этих изданий означало только одно — изменение плотности связей внутри одного слоя, рост консолидации внутри него, формирование определенной гражданской культуры.

Если раньше не так уж важно было, когда — сейчас или через год — удастся прочесть в самиздате Безансона или Флоренского, то сегодня фактор времени стал чрезвычайно важным, иногда решающе важным. Поэтому не книги, а именно журналы, обеспечивающие оперативный цикл интерпретации событий, были до самого недавнего времени главными героями дня.

Но по мере того как процесс социаль-

ного и интеллектуального движения выходит за границы этого слоя (а об этом уже можно говорить), растет многообразие позиций, точек зрения. Начинается дифференциация и внутри прежнего, длившегося несколько лет единства.

Толстые журналы «перекачали» из запасников общественной мысли основной фонд идей, накопленный с 60-х годов. Передали его тем, кто был в состоянии усвоить этот круг идей и представлений. Но одновременно они же блокировали развитие новых идей, задержав выход в свет интеллектуалам, писателям, ученым, не вписывавшимся в каноны «шестидесятников» и их политических представлений. Эту задачу следовало бы взять на себя изданиям другого типа, которых нет и не может быть, поскольку до сих пор существует жесткий контроль аппарата над печатью. Независимой прессы, реагирующей на этот спрос и потребность общества, явно недостаточно, оно начинает задыхаться от нехватки новых идей.

В первую очередь речь должна идти о расширении объемов и характере социальной информации — статистики, архивных данных и сведений. Самым ярким примером здесь может служить взлет «Аргументов и фактов», которые за какие-нибудь три-четыре года подняли свой тираж с полутора миллионов подписчиков до 33,4 миллиона — обстоятельство, заставляющее задуматься над тем, какой голод в обществе на информацию, как извращена вся работа нашей печати и телевидения! Но еще более важным, на мой взгляд, является то, что издания, добившиеся признания у публики, дают прежде всего новые средства понимания реальности, интерпретации того, что есть наше общество, как работают его институты, где выход из паралича, в котором оказалась страна в итоге семидесятилетней борьбы за лучшую жизнь.

Резким ростом тиражей и соответственно своей аудитории — в 3, 5, 8, 10 раз — могут гордиться лишь немногие центральные журналы: 6—7 толстых («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя» и другие), а также «Огонек», газета «Московские новости» (без сомнения, при снятии лимитов за год-два поднявшая бы свой тираж до 10—12 миллионов подписчиков), прибалтийские журналы и независимые газеты.

Кроме них, увеличили свою аудиторию молодежные журналы, тиражирующие весь спектр новых настроений, а также массовые тонкие журналы с их общей тематикой неидеологического, «частного» существования — семьи, дома, здоровья, заботы о своем «саде». После долгого падения популярности из-за достигнутых успехов в борьбе с человеческой мыслью, философской и литературной культурой Запада академические журналы по гуманитарным наукам постепенно начали отходить от схоластики и превратились в популяризаторские издания, публикующие наследие конца прошлого — начала нынешнего века, что и принесло им заслуженный читательский успех.

Выросли тиражи и у журналов, по крайней мере у части, издающихся на языках народов нашей страны. В свое время именно их рост позволил прогнозировать нынешние процессы политизации и национального возрождения (особенно — в Закавказье, Прибалтике, изданий крымских татар и др.).

Напротив, за годы перестройки имело место систематическое падение читательского интереса к партийной и чисто идеологической прессе. Возьмем только центральные издания. Как только в 1987 году была снята принудительная подписка для руководства и членов КПСС на «Правду», так тираж ее немедленно пополз вниз. К январю 1990 года число ее подписчиков уменьшилось на 36,4%. За то же время «Партийная жизнь» потеряла 50,4% подписчиков. «Политическое образование» и «Агитатор» к прошлому году утратили 28,4% и 23% своей подписки (в этом году эти журналы преобразованы и выходят под новым названием), «Сельская жизнь» за три года потеряла — 27,6%. «Советская Россия» — 21%, несмотря на множество скандальных публикаций. Только в прошлом году она потеряла более 1 миллиона своих подписчиков. «Коммунист» (центральный орган, выходящий наряду со своими однофамильцами в союзных республиках), теоретический журнал ЦК КПСС, став гораздо более информативным и интересным, тем не менее потерял с 1987 года 45% своих подписчиков, «Комсомольская жизнь» — 25,3%. «Красная звезда», несмотря на обязанность для офицеров выписывать ее, потеряла треть своих постоянных читателей и подписчиков (34,2%). Еще более быстрым темпом шло падение подписки в прошлом году у таких изданий, как «Агитатор Армии и Флота» (22% только за один год), «Коммунист Вооруженных Сил» (27%), «Молодой коммунист» (35%), «Журналист» (31%), «Международная жизнь» (14%), и т. д. Упал тираж у многих идеологически проверенных органов печати, некоторые закрылись или переформируются.

ТРИ КУСКА КОЛБАСЫ НА ДЕСЯТЬ КУСКОВ ХЛЕБА

Совершенно ясно, что это не случайная вещь, события такого же ряда, как поражение функционеров на выборах или эпидемия обкомовских отставок, прокатившаяся по стране.

Колебания в тиражах отражают высокую степень избирательности читателей, характер их предпочтений. Если ядро партийных изданий составляют многолетние подписчики (больше 10—15 лет выписывающие один и тот же журнал или газету) — руководство любого уровня, ветераны, офицеры, пенсионеры и т. п., то у новых популярных изданий аудитория очень подвижна и нестабильна. Практически на ¾ она состоит из новых читателей (так у «Нового мира», «Знамени», «Дружбы народов» и др.). В наибольшей степени это относится к «Огоньку», практически полностью сменившему бывшего своего читателя. Еще больше расходятся они по социальным характеристикам. У «Труда», «Советской России», даже «Молодой гвардии» аудитория преимущественно периферийная, она собирает главным образом людей со средним образованием и узким кругом источников, старших или средних возрастов. Для многих «Труд» или «Советская Россия» вообще единственный канал информации, в то время как читатели «Нового мира» или «Знамени» выписывают 7—10 наименований периодических изданий, это люди с высшим, как правило, образованием, постоянно следящие и за событиями в литературном и в политическом мире, опирающиеся на сравнительно большие домашние библиотеки, и проч.

Реакции читателей бывают очень быстрыми в том случае, когда издание отстает от темпа общественных запросов. Так, первоначально возраставшая подписка у «Литературной газеты» в этом году упала на 32,5 % (ее перестало выписывать больше 2 миллионов семей, в определенном отношении это рекорд падения тиража). Печать поэтому не просто воспроизводит разные общественные позиции, но и позиции, отражающие разные времена: хрущевскую эпоху, брежневское безвременье и т. д. В этом отношении партийные газеты и журналы представляют собой наиболее двусмысленные позиции...

Страна остро нуждается в сотнях новых журналов. Особенно сегодня, когда время ценится очень высоко, когда только периодика едва-едва успевает фиксировать поток событий. Но самым важным остается, кто́ говорит: аппарат, озабоченный сохранением своих интересов, или общество в лице разнообразных социальных групп, ищущих альтернативы выхода из исторического тупика.

Совершенно очевидно поэтому, что вопрос о бумаге — вопрос о власти, будущем страны и уж совсем не технический. То, что не хватает бумаги, это ясно — бумажная промышленность разорена до последней степени и нуждается в скорейшей модернизации. Но дело не только в ней, а в системе распределения. Сегодня на издания журналов, предназначенных за рубеж в пропагандистских целях (а их совсем немало: почти каждый десятый журнал, то есть 147 названий), бумаги идет втрое больше, чем для всех научных журналов, вместе взятых.

Как работает отрасль, кто ее оценивает и по каким критериям — ответить на эти вопросы не представляет труда. Это отнюдь не общество, вбирающее в себя разнообразие потребностей и интересов, а партийный аппарат. Ибо только в ЦК КПСС и союзных республик решают, следует ли образовать новый журнал или газету или нет, а если да, то какова будет цена одного номера, начальный тираж, штат, зарплата ее редакции, кто будет их печатать и за какую цену, какие гонорарные ставки будут назначены и т. п.

В этой структуре Госкомпечать СССР — чрезвычайно важный орган. Блюдя интересы заказчика и свой собственный (13—15% всей прибыли отрасли идет на содержание его аппарата и в централизованный фонд отрасли, 80—82% издательской прибыли — в казну), он «управляет» всем издательским процессом, выкачивает деньги из населения и не дает, не пускает «чужих» к печатному станку. Конечно, все искусство управления в этом случае, как сказал один остроумец, заключается в том, чтобы разложить три куска колбасы на десять кусков хлеба, но ведь надо знать, на чей хлеб и какую колбасу класть. И если вскоре произойдет внезапное повышение цен на ряд периодических изданий — о чем ходят упорные слухи,— то мало для кого будет неясным политический смысл этих «мероприятий». И дело не в нехватке бумаги или убытках Министерства связи: поднять цену, как это не раз уже было, означает прежде всего — ограничить читательскую аудиторию соответствующих изданий.

Мы живем в разваливающемся чиновничьем государстве. До сих пор во всех сферах социальной жизни действует только один принцип — тотального бюрократического управления. Любой вопрос — от детского сада до выхода на международный рынок, от поэтики до строительства авианосцев — решается чиновниками. Не исключение здесь — «свободные» или «творческие» профессии, Союз писателей, Союз композиторов или Академии наук, не говоря уже о Союзе журналистов или Министерстве культуры. Всю систему объединяет исходная посылка, что без централизации распределения и контроля наше общество немедленно развалится, что это наиболее эффективный и рациональный принцип устранения диспропорций в общественном производстве, социального неравенства и т. п. Идеологический смысл этого постулата сегодня в общем-то очевиден. Но нет понимания средств выхода из этой ситуации, поскольку действуют мощные корпоративные механизмы защиты системы, а также — что не менее важно — инерция.

Легально работают только вертикальные связи: приказ — исполнение. Система вертикального контроля была и остается единственным сдерживающим началом централизованного управления. Некомпетентность — это не просто субъективная характеристика бюрократов в министерствах, райкомах или гендирекциях НПО, а объективное следствие напряжений в самой тоталитарной структуре организации общества, в том числе и кадрового подбора.

Если бывший председатель Госкомиздата СССР, бывший секретарь горкома, доктор наук, автор 27 брошюр «по повышению эффективности идейно-воспитательной работы в условиях развитого социализма», бывший главный редактор «Советской России», а ныне председатель Гостелерадио СССР М. Ф. Ненашев может о себе сказать «я — средний читатель» («ЛГ», 5.1.89), то ведь это не жест, не просто слова, а социальная самохарактеристика: я — как все, и наверху, и внизу, я — средний!..

На долю печати падает сегодня чрезвычайно важная роль, по меньшей мере равнозначная ожидаемым действиям центральной власти и парламента. Суть ее заключается в необходимости сдвига в общественном сознании, разрушения сохраняющихся стереотипов тоталитарного и мифологического мышления, расчищения нашего сознания от прежних догм, отказа от надежд на доброго дядю с чрезвычайными полномочиями и благодеяниями то ли сверху, то ли со стороны. Только при ясном понимании, что пришли крайние времена, что никто не решит твоих проблем и не будет их решать, что надо думать самому и именно сейчас, а не когда-нибудь, общество сможет прийти в какое-то иное состояние. Пока общественное сознание беззащитно перед государством, беспамятно, дезориентировано и угнетено. Всей информацией, практическими навыками «управления», включая прежде всего защиту от покушений на власть, владеет только аппарат.

Сегодня массовое сознание, если воспользоваться аналогией нашего известного политолога Л. А. Седова, больше всего напоминает здорового, но ограниченного подростка, оказавшегося в мире взрослых людей. Растерянный и обиженный своими неудачами, своей неспособностью жить, как они, кидающийся от одной крайности («Я другой такой страны не знаю, где так вольно...») до другой («Мы хуже всех...»), носитель этого мышления таит в себе немалую опасность простых импульсов и силовых решений («все поделить», «всех уравнять», «покончить с мафией и кооператорами») и то ли желания уйти от всех и поплакать («Если так пойдет дело, Россия выйдет из состава СССР», «Нам нужно вернуться к своим истокам и корням, без этого нет национального спасения»), то ли пойти и немедленно набить кому-нибудь морду («Очистим наше отечество от чужеродных элементов и инородцев, погубивших страну»).

Напротив, способность мириться с несовершенством мира, сложностью реальности, умением понимать всех остальных действующих лиц нашего жизненного театра предполагает не просто терпимость, но и навыки анализа, контактность, определенный информационный горизонт и культурный ресурс, которого сегодня нет или которым располагает небольшая группа интеллектуалов, довольно неумелых в политике или не имеющих выхода к печати.

Однако для достижения состояния зрелости, компетентности общества мало одной периодики (ибо культурный пласт и историческая глубина опыта, на которое она может работать, характеризуются главным образом параметрами текущих событий, оперативной информацией). Для зрелого же общества, независимого, автономного, то есть общества сильной демократии, с развитыми представительскими институтами, а значит, опытом гражданской и политической культуры, требуется гораздо более основательный ресурс интеллектуальной, долголетней внутренней работы. Реформы начала 60-х годов провалились не только в силу политической слабости реформистского руководства или неблагоприятных стечений исторических обстоятельств. Одной из причин было то, что интеллектуальная группа, некоторые идеи которой легли в основу хрущевских реформ, не успела создать себе достаточно широкой среды, способной к систематическому усвоению новых ценностей и идей, новых взглядов и представлений.

С народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР Евгением МАТВЕЕВЫМ беседует наш корреспондент Анастасия НИТОЧКИНА. Это продолжение серии наших бесед с теми, кто еще недавно был в центре внимания и вдруг исчез из него — будто выпал. Так что же случилось с недавним любимцем советских зрителей разных рангов, одним из руководителей советских кинематографистов, Евгением Матвеевым?



ПОЗИЦИЯ

Я СТАРАЛСЯ...

— Еще до того, как я включила диктофон, вы назвали себя «изгоем». Слово очень больное, обидное, труднопроизносимое по отношению к себе...

— Вы правы. В обществе своих сотоварищей по труду я нахожусь в числе оскорбленных, униженных — это правда. Я только не понимаю, за что?

— Прежде вы всегда были любимы и народом, и официальными кругами. Я знаю, и сегодня вас любят зрители, я сама была свидетелем этого на кинофестивале в Калинине в прошлом году. Вы оказались популярнее Абдулова, Янковского и других самых «модных» артистов... Так что для зрителей вы никогда не были и не будете изгоем.

— Вы знаете, я иногда прихожу в такое отчаяние и произношу такие слова, которые знает только моя подушка... И поэтому я сегодня кидаюсь к народу. Я в нем растворяюсь. Я могу с ним плакать, смеяться, водку пить... Я чувствую, что я ему нужен. Это — счастье. Как только я пойму, что я и народу не нужен, тогда я...

В течение 10 лет я был секретарем нашего Союза, занимался актерами. Я обивал пороги всех министерств и ведомств. Где я только не был! С Санаевым, с Лучко, со Смирновой. Мы пытались улучшить нищенскую, оскорбительную жизнь наших артистов, которая не шла в сравнение не только со странами Запада, но и с социалистическими. И чего я за 10 лет добился? Одним прибавили по 6 рублей, другим — по 4. Вот и все мои достижения!

— Неужели сегодня не жалко этих десяти лет?

— Конечно, жалко. Но как же я был счастлив, что хоть на 10 рублей пробил эту мертвую стену! Это был хоть маленький, но сдвиг. А сегодня легко быть храбрым. Отовсюду поддержка: и от министерств, и от ведомств, и от ЦК, и от депутатов... А улучшения все равно нет... А тогда мы были одни — жалкая горстка людей, желающих что-то улучшить,— мы бились лбом о стену!

— А какими-нибудь привилегиями вы сами пользовались?

— За 10 лет работы в Союзе кинематографистов я ни разу не воспользовался даже путевкой. Один раз взял для больного тестя, и то в горкоме партии. Я ни разу не был от Союза за границей!

— А как же вы ездили?

— От профсоюза, от Госкино, от Комитета защиты мира, от общества советско-...такой-то дружбы... Я ездил на фестивали, потому что посылали фильмы с моим участием...

— Вы что же, вообще не знали ничего о существовании привилегий?

— Не знал и не интересовался. Мне это было бы стыдно. Вот сейчас решил уйти на пенсию, подал заявление, мне говорят: «Напишите, что просите персональную»... Ну как же я могу такое написать? «Напишите — вам положено». Ну, если положено, дайте! Почему я должен это просить? Это все равно, что просить Героя Соцтруда! Когда человек квартиру просит, я понимаю, невыносимые условия. Но пенсию?!! А вдруг мне не положено, а вы будете думать, что я нахал! Я не нахал.

Когда я работал в Малом театре, я был секретарем партийной организации. Сколько раз прибавляли зарплату работникам театра! Я всегда себя вычеркивал из списка. Мне было неловко...

Меня все съесть готовы, что моя картина «Особо важное задание» первая попала на всесоюзную премьеру. Но я об этом никого не просил. Госкино искало новые формы проката, подвернулась моя картина — вот и все... Я всегда думал только о работе и старался делать добро.

А мое детство проходило в тяжелые годы, те, которые сегодня добрым словом никто не поминает,— коллективизация. Разумеется, в политических аспектах того времени я не разбирался, так как был ребенком. Я вспоминаю эти дни как сказочно-героические. Я жил в глухом, далеком от районного центра селе на Херсонщине. Мама была одинокой безграмотной украинской женщи-

ной. Я же жил бурной, страстной, кипящей жизнью.

Я помню, как прилетел первый самолет: кто-то падал в обморок, кто-то молился, а нам, мальчишкам, казалось, что это Змей Горыныч из сказки.

А радио! Хрипит, свистит — ничего не слышно. Собирались все равно толпы народа, и если вдруг удавалось в этом шуме разобрать слова: «трактор» или «Советская власть» — все начинали передавать друг другу, что удалось услышать!

Я был свидетелем раскулачивания и убийства активистов. Естественно, я заглядывался на комсомольцев и комсомолок того времени, которые ходили в красных косынках, с портупеями. Для нас, только начинающих жить, это было очень романтично.

Я помню, как за столом, на котором стоял большой таз, собиралось по 8—10 человек и ложками ели какую-то бурду. Тогда мне не казалось это страшным...

А что творилось на похоронах убитого кулаками комсомольца-активиста! Все село в один голос пело: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Я сейчас рассказываю, а меня как током ударило. Это была молитва новой жизни. Так мне тогда казалось.

Сейчас я вспоминаю все это, как великое несчастье. Я отношусь к тому времени, как к обманутому детству. И сегодня я преклоняюсь перед крестьянином, потому что хорошо знаю человека, привязанного к земле, поливающего потом эту землю в буквальном смысле слова.

— Вы произнесли слова: «обманутое детство». Когда пришло это ощущение?

— Во время войны, в свои 18 лет, я был неплохим офицером, демобилизовался в 1946 году. Потом женился, родилась дочь, нужно было их обеспечивать. Работал в тюменском театре, диктором на радио, преподавал в институте и еще вел по 5—6 кружков. Спал по 3—4 часа. Так что — труд, труд, труд! Я не задумывался о системе. Об этом не могло быть и речи: система была прекрасная! Разве могло прийти в голову что-нибудь иное. Сейчас уже подзабыли: ведь была разрушена вся страна, все работали на восстановление. С едой было плохо, с жильем тоже плохо, со всем было плохо, но все оправдывалось войной, разрухой. Мы сами себя убаюкивали, успокаивали: была революция, потом гражданская война, Хасан, финская война, Великая Отечественная... Страна истощена. Кроме того, мы уже в школах узнали, что нам досталось тяжелейшее наследие царской России.

— А теперь мы узнаем, что в 1913 году все было не так-то...

— Это идет перехлест. Стало модным кланяться в ту сторону. Все забыли, что при царе голод был еще похуже, чем в 1933 году...

— Вы очень часто ездили за границу, видели, как живут люди там и как мы живем здесь. Как в вашем сознании укладывалось: «загнивающий Запад» и наша бедность?

— А я ведь бывал в контрастных странах. Я видел и роскошь, и богатство, и страшную бедность. И мне казалось, что мы живем неплохо: у нас не было нищих, умирающих от голода. Это сейчас оказалось, что у нас 40 миллионов человек живут ниже уровня бедности. Но тогда ...по сравнению с тем, что я видел, скажем, в Эфиопии...

И тем не менее, когда я узнал, что страны, пострадавшие во время войны, обгоняют нас в развитии, что люди там живут лучше наших, я стал задумываться. Я понял, что что-то неладно в нашей системе.

Я невыносимо страдал, когда в США, в Англии, во Франции, в Аргентине видел в магазинах горы мяса. Я всегда думал: «Ну когда же мой народ увидит все это? Когда же мой народ поест досыта?» Это же мои муки, мой стыд. И сегодня мне стыдно. И стыдно, между прочим, и за мою партию. Мне кажется, что она должна найти в себе мужество покаяться перед народом. Я готов покаяться потому, что я ей служил. Но если она довела страну до кризиса, то нельзя делать сейчас вид, что удастся быстренько из него выскочить с малыми потерями. Люди начинают шарахаться, они веру теряют...

Мне неловко, когда не находим в себе мужества признать, что мы исказили цель социализма. И началось это со Сталина, потом шарахались из стороны в сторону и дожили до глубочайшего, тяжелейшего кризиса.

Но, несмотря на все это, я партии все равно не изменю. Мне стыдно сегодня бежать с этого корабля. Я готов принять все упреки, но если мы будем тонуть, то вместе.

— Скажите, а когда вы вступили в партию?

— Я вступил в партию в 1946 году и не ради карьеры, а по убеждению. Я совершенно искренне писал в заявлении, что принимаю Устав и обязуюсь выполнять все решения партии. Для меня это не просто слова. Это — клятва, как для офицера — присяга.

Когда выходили какие-то партийные документы, решения, даже если закрадывалось сомнение в их правильности, я гнал от себя эти мысли. Почему? Потому что была святая вера в партию. Святая!

А все самое страшное началось с отмены Бога. Ну, просветили народ, убедили, что Бога нет. Но ведь ничем эту веру не заменили.

— Партия, видимо, должна была его заменить?..

— Нет. Поначалу думали: построим клубы, и новая пролетарская культура войдет в душу каждого человека. Потом Бога заменили культом личности Сталина. Потом сломали культ, и справедливо! Но каково это отразилось в душах людских? Сейчас о любом царе — плохом, хорошем, злом — легче говорить, чем о Сталине. Должно не одно поколение уйти, чтобы можно было в этом периоде разобраться объективно.

Потом оттепель. И тут же Никита Сергеевич Хрущев пообещал коммунизм. И говорил, что доживем до него. Я помню его выступление в Туле: «На кой черт тебе корова? Захочешь молока, пойдешь в магазин и купишь. Зачем пельмени? Придешь в магазин, возьмешь». Все оголили, уничтожили. Хрущев умер, а коммунизма все нет.

Теперь мы опять шарахаемся из стороны в сторону.

— На ваш взгляд, бесконечные шараханья — национальная черта или же порок системы?

— Я убежден, что национальная черта — это труд, труд, труд. Это самая великая черта нашего народа!

— Но у людей давно отбили желание работать!

— Потому что наш человек перестал верить в свой труд. Хотя какая же это прелесть — наше социалистическое предначертание: «От каждого по способностям, каждому по труду!».

— К сожалению, наше социалистическое предначертание срабатывает лишь в США, в Японии, прочих странах, систему которых все семьдесят лет мы старательно клеймили.

— Один из наших интеллектуалов правильно сказал, что в Швеции социализм давно построили.

— А мы-то что строили в течение всех этих лет?

— Мы исказились где-то в 30-е годы...

— А как вы сейчас относитесь к революционному периоду нашей истории?

— Относился и отношусь, как к явлению Христа народу. Жаль, что потом все исказилось. И сейчас мы пожинаем плоды. Сегодня дали нам гласность, свободу выражения мыслей, чувств, а на поверку оказалось, что мы не готовы к этому. Мы элементарно не готовы, невоспитанны, некультурны. Плюрализм мы превратили во вседозволенность, демократию и гласность — в хамство. Перед выборами лозунги были: «Голосуйте против партийных, против аппаратчиков». Но ведь это же глупость! Я был депутатом Верховного Совета РСФСР, я знаю эти аппараты. Где-то плакал, где-то стучал кулаком по столу, где-то умолял, просил, унижался, доказывал, угрожал. И мне много удавалось, в том числе и потому, что ко мне хорошо относились. Но ведь это же не значит, что все аппараты плохие. Есть профессионалы (и не потому, что окончили Высшую партийную школу или Академию общественных наук), а потому, что они люди, которым Богом дано умение заботиться о других и испытывать счастье, если они хоть что-то полезное и хорошее сделали. И немало таких людей. Пусть их половина, но они же тоже оказались сегодня за бортом. И я очень боюсь, что придет время и мы будем говорить: «Боже, что мы натворили во время перестройки?!» Мы забыли сегодня человеческий фактор. А людям, как кислород, необходима надежда. Ни искусство, ни пресса, ни литература не дают этого кислорода. Мы снова шарахнулись, на этот раз в сплошную чернуху, в одну только тень от нашей жизни. Но тень не бывает без солнца, без света. Больше того, ополчились на социалистический реализм!

— А вы верите в идеи социалистического реализма?

— Социалистический реализм — как я его понимаю,— это, во-первых, правда жизни. Во-вторых, правда в ее революционном развитии. В-третьих, это — гуманистическое, оптимистическое искусство. Как же можно отрицать эти постулаты? Это же все равно что отрицать главные библейские заповеди: «Не убий», «Не укради»...

Да и где это написано, что социалистический реализм отвергает многообразие, многожанровость, многовидовость искусства? Ну, не называйте его социалистическим реализмом, если вам название не нравится. Но ведь от принципов отказываться грешно!

Сегодня я невероятно страдаю и когда слышу такие слова, как «гуманный социализм». Ну, разве социализм может быть негуманным?

— Вы считаете, теория социализма жизнеспособна?

— Это чрезвычайно серьезный вопрос. Я не экономист, не политик... Мои друзья могут подтвердить: задолго до перестройки я убеждал их, что наши механизмы не срабатывают. Первое время это тоже оправдывал: не срабатывают, потому что мы первые на земном шаре с этой системой! Первые!!! Все ново! А сколько было реформ: сталинских, брежневских, хрущевских! Вы только вдумайтесь!

— Ну и сегодня то же самое происходит. Принимается закон, а через две недели постановление, прямо противоположное этому закону.

— Про то, что происходит сейчас, я и не говорю. Я не знаю, нужно ли придерживаться слова «социализм». Я не теоретик, я член партии. Я знаю, что партия привлекает к работе умы образованнейших людей — экономистов, социологов, психологов. И если партия говорит, что эти люди способны выработать генеральную линию выхода из создавшегося кризиса, у меня нет оснований ей не верить.

— А как вы относитесь к тому, что сегодня многие выходят из партии?

— Выйти или войти в партию — это дело глубоко личное. Это все равно, что верить или не верить в Бога.

— У вас никогда не возникало желания выйти из партии?

— У меня бывали минуты отчаяния. Я был страшно подавлен, когда началась клеветническая кампания против отдельных людей, связанных с культурой. И меня в тот момент никто не защитил. Меня травили. Почему? Потому, что я беспредельно глубоко верил партии? За то, что всеми силами я служил ей?..

Партия говорила: «На БАМ!» Я шесть раз был на БАМе... А недавно я был там, уже без призыва партии, и мне стало страшно. «Что мы сделали плохого? — спрашивали меня живущие там.— За что нас обижают? За то, что мы 20—30-летними приняли лозунг партии, честно работали, потеряли здесь молодость, а теперь оказалось, что все это было не нужно?» Это же какое разочарование людей! Теперь говорят: «Зачем нужна была целина?» А мне что делать,— я медаль имею за освоение целины. Я четыре раза туда ездил, и не сейчас, когда есть дома, дороги, а когда приходилось по колено в грязи топать по болотам. Партия сказала: «Деятели культуры — труженикам целины!», и мы выполняли. А теперь оказалось, что все это не нужно. Как же мне сегодня себя чувствовать: я же помогал партии! У меня, например, возникало желание отдать все мои награды; если вы считаете, что я их не заслужил, возьмите. Я же не просил их.

— Вы всегда были активистом. Что для вас «общественная работа»: повинность, необходимость, то, что положено?

— Это потребность. Это невозможность не отдать частицу себя людям. Во мне до сих пор живет Нагульнов, если хотите. Не отрицательные его черты, а его жажда приблизить прекрасное будущее.

— Скажите, а вы верите в Бога?

— Я не верю. Но, сколько живу, в церковь заходил. И был счастлив, что хоть на мгновение оторвался от быта, который на меня давит. Торжественность, величественность! Какой высокий дух искусства! Как же можно было отнять у нас это?

— Но ведь отняла же революция!

— Ну, после революции уже сколько лет прошло! Всякий раз, как я бывал за границей, всегда у меня в номере была Библия, а взять и привезти ее домой боялся. Боялся, что на таможне упрекнут в контрабанде, а сейчас жалею, потому что это — мудрость, человеческая мудрость, не зависящая от времени, режима и всего остального. Так что можно сказать, в Бога я все-таки верую. В своего Бога, внутри меня. Это — совесть, совестливость...

А сегодня многие вылезшие на гребне перестройки не имеют этого Бога внутри себя. Отсюда ложь, клевета. Однажды меня просто оскорбил один оратор. «Наконец, прошло то время,— с пафосом говорил он,— когда за Генсека писались книги, а он получал Ленинскую премию. Прошло то время, когда актер, исполнивший роль Генсека, получал Золотую Звезду!» А кроме меня, никто Брежнева не играл. Значит, это он меня имел в виду. Но ведь это же клевета насчет Звезды! Клевета на всю страну.

Как же жить после этого человеку совестливому? Я к своему Богу обращался! И самое страшное, что никто меня не защитил, в том числе и моя партия. Мне люди звонили, писали: подай в суд. Ну, как же я могу унизиться до этого? Я-то знаю, что я ничего не получил, кроме своей зарплаты — 400 рублей. И роль еще дрянную сыграл. И отказывался сначала. И не потому, что Брежнева играть не хотел, а потому, что просто роль плохая. Был бы слесарь или повар, все равно бы отказался...

— А почему же согласились?

— Ну а почему нет? Я же актер...

— А как вы в те времена относились к Генсеку?

— Никак. Это мои товарищи знают, что я про него и при жизни анекдоты рассказывал. И смешно получалось, между прочим. Больше того, я копировал его в нашем посольстве в США. Сначала был шок, потом все смеялись. А он, между прочим, был еще жив. А что касается фильма!.. Я был утвержден Сусловым: «Вы коммунист. Это вам партийное задание!» Попробуйте

после этого отказаться. Что, мне теперь не жить, если я коммунист?

— Часто в вашей жизни бывали случаи, когда приходилось играть что-то по приказу партии?

— Нет. Почти никогда. Иногда приходилось товарищей выручать, зная, что дрянь несусветная,— играл, потому что знал: не сыграю, режиссер, мой товарищ, никогда этой постановки не получит. И не я один так...

— Сегодня эпоху правления одного из сыгранных вами персонажей называют «застоем». Как вы относитесь к этому термину, да и к тому времени?

— Раз уж принят этот термин, я тоже буду его употреблять, хотя категорически с этим не согласен. Ну, какой же застой?! Обливали пóтом БАМ. А Набережные Челны! А Чебоксарский тракторный завод! А тюменская нефть! Если застой был в умах наших руководителей, то страна-то не стояла. Страна работала. Ведь что такое застой? Это остановка в движении для переформирования, подтягивания резервов, с тем чтобы сделать рывок вперед. Но мы же ничего этого не делали. Мы просто отступали.

— Вы говорите — отступление. От чего отступление? Значит, до этого было какое-то движение? При культе личности?

— Все-таки движение было: поиски развития социализма. При Хрущеве образовывались сельские райкомы и обкомы, промышленные райкомы и обкомы, совнархозы. Это все были поиски стимулирования экономического развития страны. При Брежневе я таких реформ не припомню. Мы не развивали страну, а расходовали, разбазаривали, разменивали. Какая силища молодости погибала в Афганистане! За что? Да разве только это!..

— Но тогда и вы, наверное, верили, что война в Афганистане — неизбежность.

— Конечно, я видел по телевизору репортажи Лещинского и верил им!

— А Сахарову не верил!

— Тут я должен покаяться. Я не помню сейчас точно, в каком году началась травля Андрея Дмитриевича, но во всех газетах стали появляться письма, осуждающее его. Письма эти подписывали крупнейшие академики, писатели... Звонят мне из Союза кинематографистов: «Евгений Семенович, деятели кинематографа написали в «Правду» письмо, осуждающее Сахарова». А я не знаю Сахарова, не знаю, за что его осуждать, я не читал его заявлений. «Свобода» глушилась, и мы были уверены, что это — вражеский голос. И я тогда ответил: «Я про это ничего не знаю». В трубке голос: «Это ваше личное дело, как хотите». Через десять минут раздается звонок из высокой инстанции: «Евгений Семенович, вы что, не доверяете Центральному Комитету партии?» Спрашиваю: «А кто подписал?» Называют десятки наших выдающихся деятелей кино.

— А кого именно?

— Да какая разница. Дело не в них. Мне лично стыдно, что согласился, чтобы поставили мою фамилию. Я опять был обманут! За что? За то, что верю в коммунистические идеалы? За то, что верю партии? А она меня так подставила. Вот это была для меня трагедия! На встречах со зрителями теперь каюсь. Не знаю, как остальных, а меня совесть гложет. И теперь никто никогда не подобьет меня на коллективное письмо. Даже если сам президент подписать попросит!

— Я представляю, насколько трудно говорить многое из того, что вы сейчас говорите, каясь, стыдясь каких-то своих поступков. В этой связи вопрос: нас всегда учили, что иметь принципы, быть принципиальным человеком — хорошо. Отказываться от своих принципов — дурно. И вот возникает фигура Нины Андреевой (я имею в виду нарицательный образ), которая заявляет, что от своих принципов отказываться не собирается. А многие ее осуждают...

— Я никогда не поверю, что таких, как она, много. Это же фанатики. Люди зашоренные, не желающие взглянуть на мир нормальными глазами... Я тоже очень давно начал настороженно относиться ко многим партийным постановлениям.

Работала как-то на «Мосфильме» комиссия горкома партии. Долго они нас проверяли, наконец, получили от них бумагу — «Решение городского комитета партии» за подписью Гришина, члена Политбюро. В решении осуждались партком (членом которого я являлся) и дирекция — за слабую идеологическую и партийную работу, выразившуюся в том, что появились картины: «Детский сад», «Чучело», «Парад планет» и еще какая-то. Первый названный фильм не видел, ничего поэтому сказать не могу. Остальные видел и очень их люблю. Ценю высоко. Но я сказал, что я их не видел, потому что не хотел, как член парткома, осуждать их. А все осуждали.

— Ну а спорить, бороться, доказывать?

— О чем вы говорите? С кем спорить? С членом Политбюро? Я же рядовой коммунист, я обязан выполнять решения партии! Ругать картины не мог, потому что не хотел идти против совести, и хвалить не мог, это значило пойти против партии. Вот и выбрал середину. И считаю, что поступил, как порядочный человек.

— В таком случае ваше выступление на V Съезде кинематографистов...

— Вы вспомните мою речь. Там все сказано, но ведь меня никто не слушал, потому что не хотели слышать. Все были зашорены. Это был массовый психоз. Все думали только о том, чтобы всех убрать и поставить новых. Зачем так топтали Бондарчука?

— Не все топтали. Никита Михалков его защитил. И сегодня пишет, что не отказывается ни от одного слова в своем выступлении.

— Так с ним же после этого не здоровались. А Бондарчука до сих пор топчут. Ноги вытирают. Но ведь это же гигант! Это глыба! При всех его отрицательных чертах характера. Ну а у кого из талантливых людей характер ангельский?

— А расскажите, пожалуйста, о власть имущих, с которыми вам приходилось встречаться. Входили ли они в круг вашего постоянного общения?

— Никто и никогда... Только однажды довелось мне принимать участие в художественно-публицистическом фильме «Всего дороже» (продолжение «Великой Отечественной»). Я был ведущим, но, естественно, читал слова не свои, а написанные мне сценаристом. И я счастлив, что, работая над картиной, соприкоснулся с Громыко, Кириленко, Тихоновым...

— И какое впечатление они произвели на вас?

— Громыко всегда производил впечатление человека умного и очень осторожного. Это было заметно по тому, как он произносил каждое слово: взвешивал, чтобы не было кривотолков... Что и говорить, прирожденный дипломат! Он же в 30 с небольшим лет, еще при Сталине, был послом в США! Так что знал цену словам. Помню, как однажды в неофициальном разговоре я спросил: «Андрей Андреевич, неужели действительно на каждого человека Земли приходится по 16 килограммов взрывчатки?» Он положил мне руку на колено и ответил: «Евгений Семенович, у вас устаревшая информация».

Кириленко произвел впечатление комическое. Интервью (по фильму) было интересное. Он растрогался, плакал... А после съемки ко мне обратился: «Как быть с Гришей?»

Я растерялся. Прокрутил в голове: «Какой еще Гриша? Чухрай? Мелехов?» Потом понял: тогда шла кампания против картины Климова «Агония».

«Вы имеете в виду Григория Распутина?»

«Его, его. А вот ваш министр,— показывает пальцем на Ермаша, который присутствовал на съемке и стоял тут же,— учит нас, что это хорошая картина...»

Вникните в мое положение! Согласиться с членом Политбюро? Но картина-то мне нравилась! Я и говорю: «Андрей Павлович, если говорить об искусстве, картина хорошая, очень даже талантливая. А если о политике, то это ваше дело».

«А что, политика и искусство разделимы?»

«Нет. Неразделимы. Но нам-то уже по шестьдесят. Мы-то понимаем, где черное, где белое...»

Не понравился ему мой ответ... Обиделся, что я его не поддержал. Ждал, что клеймить Климова начну... А мне Бог не позволил. Мой Бог — моя совесть...

— То, что вы сейчас рассказали, неожиданно. Я имею в виду не столько личность Кириленко, сколько Ермаша. Оказывается, он чему-то «учил» высшие эшелоны власти?

— Я же не вру, свидетели были.

— Как вы считаете, он был хорошим руководителем кинематографа?

— Он много хорошего для кинематографа сделал! Никто ведь теперь не делает скидку на время, на условия... Опять все зашорены, лишь бы отругать как следует! Более того, и Сизов, и Ермаш столько шишек и синяков получали от начальства! Они получали задание ЦК и, даже если были с ним не согласны, обязаны были его проводить в жизнь. И клеймили то, что, с точки зрения ЦК, нужно было клеймить. Они же ставленники ЦК!.. Им как говорили: «Эта картина не должна выйти на экран, а уж вы сами найдите для этого аргументы...»

— Вы были председателем Комиссии по Государственным премиям РСФСР. Вам тоже приходилось сталкиваться с подобными явлениями, формулировками?

— Конечно. Меня постоянно вызывали в ЦК и говорили, какая картина должна получить премию, какая не должна. Доводов комиссии не слушали, своих аргументов не выдвигали. Я спорил, бился, доказывал, что работаю с людьми и мне их убеждать. «Аргументы сами найдите...» И все. Один раз так, другой. Решил уйти. У меня объявился диабет, врачи запретили нервничать, и я сразу ушел из ВГИКа (потому что не согласен с системой воспитания) и попытался из комиссии уйти. Не тут-то было! «Пишите заявление на имя Воротникова». А почему я должен ему писать, я же не писал ему просьбы назначить меня на эту должность... Мне Центральный Комитет сказал выполнять эту работу, и я ее выполнял.

— Ну и как, вас отпустили с миром?

— Председательство я с себя снял, а членом комиссии остался. Надеюсь, сейчас будут реорганизации, меня наконец отпустят. Кстати, я сейчас спрашиваю нового председателя, вызывают ли его на ковер. Клянется, что нет. А я, когда был — вызывали... И диктовали...

— Значит, вам удавалось найти эту грань между верой в партию и невозможностью изменить себе? Вы же часто, судя по всему, не были согласны с ее решениями?

— Я никогда не изменял себе, потому что верю в партию, а не в конкретного чиновника или в конкретного секретаря бюро. Этот конкретный человек — не партия. Он временщик, и даже подонок, и недостоин он должность эту занимать... Что же мне теперь, из партии выходить? Да партия для меня — это как религия! Это идеалы!

— Какие у вас были самые большие разочарования в жизни?

— Достаточно было... Вот я попал и в число «изгоев», например. Раньше все спрашивали: «В чем секрет успеха ваших фильмов?», а теперь вообще никакого успеха не видят. На фестивале в Калинине в этом году залы битком, ни на одной конкурсной картине такого не было, а критики молчат.

Раньше ко мне журналисты приходили из всех журналов и газет, интервью брали, книжки писали. Я же никого не звал... Ну, скажите, разве я вас звал? Нет... А сегодня, что бы я ни сделал, меня не замечают... Только стараются лягнуть исподтишка... Страдаю. Лучше бы разгромные статьи писали, чем так... Это же несправедливо не только по отношению ко мне, но к моему поколению!.. Нам сочувствовать надо! Сочувствовать!..

— Что будет после перестройки?

— Не могу угадать. Я знаю, что она должна быть энергичнее, активнее... В партии есть силы, которые не хотят расставаться с привычным (не только с привилегиями, которые кто-то имеет, а кому-то только приписывают)... Но я боюсь, что если сейчас придет много новых людей, они не смогут сделать того, что сделают люди опытные, честные, порядочные...

— Вы оптимист?

— Конечно! Если бы я не был оптимистом, я бы покончил с собой...

— На чем основан ваш оптимизм?

— Я могу показаться несовременным, но я верю Горбачеву. И всеми силами буду ему помогать.

— Что вам интересно сегодня в искусстве? Какие фильмы смотрите, какие журналы читаете?

— Люблю Абдрашитова, Шахназарова, мне нравятся все их картины, последние... Из журналов серьезно отношусь к двум полюсно противоположным: «Наш современник» и «Огонек». Но оба они вызывают у меня чувство боли...

— Почему?

— Потому что не умеют разговаривать друг с другом. Это их не украшает. Часто бывают грубыми, бестактными, неинтеллигентными... И потому теряют авторитет. Это очень серьезно.

— Какому органу, на ваш взгляд, удается выдержать золотую середину? Каков ваш идеал?

— Все-таки «Правда»! Хочу, чтобы она была острее, активнее, но на сегодня она наиболее интеллигентна...

Был у меня один случай. Пришла ко мне женщина, как к депутату Верховного Совета. Ее сын — убийца. Убил жену. Осталось двое маленьких детей. Она просила помочь перевести сына с Севера, где он отбывал наказание, поближе к Москве, чтобы дети могли с ним видеться. Они не должны забывать, что у них есть отец (мать-то он убил и один у них остался). И он не должен отвыкать от детей. Иначе ему крышка. И вот эта женщина, сидя в этом самом кресле, говорила о собственном сыне: «Да, он убийца, да, он негодяй...» И столько боли было в ее словах!

Если бы всем нам было так же больно за дела в государстве, как этой женщине-матери. Мне иногда кажется, что мы все — мачехи...

Человеческая душа требует сегодня Веры, Надежды, Любви, а мы только гадим и черним... Это неверно. Это опять перебор. Очень часто в прессе, на митингах говорится о недостатках злорадно. Я ощущаю, как выступающие про себя довольно потирают руки... А мне больно, потому что это моя Родина, моя земля, мои братья и сестры!.. Но я болею вместе со страной, а не черню!..



Рисунок Вячеслава ЛОСЕВА

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ
РОМАН

ШПИОН, КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ С ХОЛОДА

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ни в этот день, ни на следующее утро Питерс больше не показывался. Лимас сидел и ждал, что за ним пошлют, но никто не приходил, и он все больше и больше раздражался. Обратился к хозяйке, но она только улыбнулась и пожала своими полными плечами. Около одиннадцати часов следующего дня он решил прогуляться по берегу, купил сигарет и уселся созерцать море.

На берегу спиной к нему стояла девушка и бросала чайкам хлебные крошки. Морской ветер играл ее длинными черными волосами, врывался под пальто, надувая его, как шар. Лимас почувствовал, как много значила для него Лиза, как много она ему дала и сколько еще он обретет, если ему будет суждено вернуться в Англию. Она дала ему главное: веру в ценность обыденных вещей, в ту жизненную простоту, которая подсказывает вам взять в пластикатовый мешочек немного хлеба, отправиться к морю и покормить чаек. Она научила его относиться с уважением к тому, чего он всегда был лишен, что ему запрещалось иметь, будь то хлеб для чаек или любовь. Он должен вернуться, чтобы обрести эти ценности вновь, чтобы принять их из Лизиных рук. Возможно, через недельку-другую он будет снова дома. Контролл сказал, что он может взять себе все, что ему заплатят, и ему хватит. Пятнадцать тысяч фунтов, пособие и пенсия от Кембриджской площади — можно позволить себе вернуться с холода, как сказал Контролл.

Погуляв немного, он без четверти одиннадцать явился домой. Хозяйка молча впустила его, и, пройдя в заднюю комнату, он тут же услышал, что она сняла трубку и набрала номер. Разговаривала она несколько секунд, не больше. В половине первого она принесла ленч и, к его удовольствию, английские газеты, которые он и читал, не отрываясь, до трех часов. Лимас, который обычно вообще не читал, медленно и сосредоточенно впитывал эти газеты, запоминал детали, имена и адреса людей, которые хотя бы мельком упоминались в новостях. Не специально — так получалось само собой.

В три часа пришел Питерс. Едва увидев его, Лимас понял — что-то произошло. Они не сели за стол, Питерс не снял макинтош.

— У меня для вас скверные новости,— сказал он.— Вас ищут в Англии. Я об этом узнал сегодня утром. В портах установлена слежка.

— А какие у них основания меня искать? — спросил Лимас спокойно.

— Формально — вы, мол, после выхода из тюрьмы не явились в полицию в установленный срок.

— А фактически?

— Ходят слухи, что вас ищут потому, что вы нарушили устав секретной службы. Ваши фотографии во всех вечерних газетах Лондона. Заголовки весьма замысловатые.

Лимас стоял и молчал.

Контролл. Это его работа. Это он поднял шумиху. Другого объяснения нет. Даже если Эйш и Кивер попались, то и в таком случае ответственность за огласку несет Контролл. «Недельки две,— сказал он.— Я полагаю, они возьмут вас куда-нибудь на допрос. Возможно, даже за границу. Недельки две — и вам станет все ясно. Потом дело пойдет само собой. Вы должны держаться ниже воды и тише травы, пока все не перебродит. Уверен, что вы справитесь. У меня есть договоренность с другими агентами. Вас будут охранять, пока не уберут Мундта. По-моему, это наилучший путь».

А теперь вот оно как обернулось.

Это не входило в договор. Это совсем другая ситуация. Что теперь делать? Уехать обратно? Отказаться следовать за Питерсом? Сорвется операция. К тому же, очень может быть, что Питерс обманывает таким способом. Чтобы Лимасу пришлось согласиться следовать за ним. Но, если Лимас даст согласие уехать на Восток, скажем, в Польшу, Чехословакию или, Бог знает, куда еще, с какой стати его потом оттуда выпустят? Какой им смысл выпускать известного на Западе разведчика? Какие у него основания считать, что они захотят его выпустить? Контролл. Его рук дело — никаких сомнений! Уж очень льготные условия он предложил. Лимас их сразу оценил. Не будут они бросаться такими деньгами, если только не опасаются потерять разведчика. Такие деньги — не что иное, как приманка, маскировка опасности, о которой Контролл ему прямо не сказал. Конечно, приманка, конечно, маскировка, но в то же время и сигнал: «Осторожно — опасность!». А Лимас не обратил внимания на этот сигнал.

— Как же они, черт возьми, все-таки узнали? — спросил он спокойно и, словно вдруг сообразив, добавил:— Ваш дружок Эйш им, наверное, сказал или Кивер.

— Возможно,— ответил Питерс.— Вы знаете не хуже меня, что такие вещи случаются. В нашей работе нет и быть не может уверенности ни в чем. Очевидно только одно — в любой стране Западной Европы вас будут разыскивать,— добавил он с ноткой нетерпения.

— Теперь вы меня подцепили на крючок, верно, Питерс? — заметил Лимас, как бы не расслышав последних слов.— Ну и потешаются, поди, ваши люди! А может, они сами и навели на след?

— Вы переоцениваете свое значение,— возразил Питерс кисло.

— Тогда, скажите на милость, почему вы устраи-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 15—18.

ваете за мной слежку? Сегодня утром не успел выйти — двое в коричневых костюмах тут как тут. Один плетется ярдах в двадцати, другой шатается по берегу. А как только я пришел домой — хозяйка немедленно звонит вам.

— Давайте вернемся к делу,— посоветовал Питерс.— Как там ваши власти вас выследили, нас в данный момент не касается. Факт остается фактом: на ваш след напали.

— Вы принесли вечерний выпуск лондонских газет?

— Нет, конечно. К чему они, если мы получили из Лондона телеграмму.

— Ложь. Вы прекрасно знаете, что имеете право связываться только с Центром.

— В данном случае была разрешена прямая связь,— раздраженно ответил Питерс.

— Ого! — криво усмехнулся Лимас.— Вы, поди, и впрямь крупная шишка. Или Центр не занимается этим делом?

Питерс пропустил реплику мимо ушей.

— Вы знаете, какая перед вами стоит альтернатива,— сказал он.— Либо вы позволяете нам взять на себя заботу и обеспечить вам безопасный переход границы, либо выкручиваетесь сами, что, конечно же, кончится арестом: у вас нет ни нужного паспорта, ни денег — ничего. Через десять дней истекает срок вашего английского паспорта.

— Есть и третья возможность: дайте мне швейцарский паспорт, немного денег и отпустите. Я сам разберусь.

— Боюсь, такая возможность не слишком желательна.

— Вы хотите сказать, что еще не получили от меня всех сведений, и, пока не получите, мне не стоит рыпаться?

— В общем, да.

— Что вы со мной сделаете после того, как получите все сведения?

— А что бы вы хотели? — пожал плечами Питерс.

— Новые документы. Можно и скандинавский паспорт. Деньги.

— Классическое решение, — сказал Питерс.— Я должен сообщить о нем начальству. Ну, так как, едете со мной?

Лимас колебался. Затем он неуверенно улыбнулся и спросил:

— А если нет, что вы сделаете? В конце концов у меня есть чем заинтересовать их по возвращении. Не так ли?

— Все эти версии труднодоказуемы, в них неохотно верят. Я собираюсь сегодня вечером. Эйш, Кивер...— он пожал плечами,— какое они имеют значение! Вас ищут, а остальное...

Лимас подошел к окну. Шторм собирается. Вон как чайки кружат под свинцовыми тучами. Девушка с берега ушла.

— Хорошо,— сказал он, наконец,— договорились.

— До завтра самолета на Восток нет. Ближайший — на Берлин. В час дня. Полетим на нем.

В этот день Лимас имел возможность в полной мере оценить, как Питерс улаживает дела, так как ему самому ни о чем заботиться не приходилось. Паспорт уже давно был выписан (видимо, Центр заготовил) на Александра Твейта, агента туристского бюро, с визой и штампами пограничников — старый, затасканный паспорт человека, который постоянно в разъездах. Голландские пограничники проформы ради проверили его. Питерс стоял третьим или четвертым в очереди и даже не смотрел, что они там делают.

За загородкой с надписью «Только для пассажиров» Лимас увидел киоск с иностранными газетами. Лимас поспешил взять экземпляр.

— Сколько стоит? — спросил он и полез в карман, но вдруг сообразил, что у него нет голландских денег.

— Тридцать центов,— ответила продавщица.

Приятная девушка. Темноволосая, приветливая.

— У меня только два английских шиллинга. Это получается гульден. Возьмете?

— Пожалуйста,— ответила она, и Лимас протянул ей деньги.

Он оглянулся. Питерс все еще стоял спиной к нему у стойки, где проверяют паспорта. Не задумываясь, Лимас нырнул в мужской туалет, пробежал глазами все страницы, бросил газету в урну и вышел из туалета. Питерс не соврал: в газете была его фотография и под ней несколько строк. Ему страшно захотелось узнать, видела ли эту фотографию Лиза. В зал ожидания он шел, поглощенный своими мыслями. Через десять минут они поднялись на борт самолета Гамбург — Берлин. Впервые за все время Лимасу стало страшно.

ДРУЗЬЯ АЛЕКА

В тот вечер к Лизе зашли какие-то люди.

Квартирка Лизы Голд находилась в северном конце улицы Байсуотер. Диван-кровать, очень милый газовый камин угольно-серого цвета — он издавал модерное шипение вместо старомодного потрескивания. Когда Лимас бывал у нее, она иногда пристально глядела на камин — он единственный освещал комнату. Вот и сейчас Лимас лежал бы на софе, а она сидела бы рядом, целовала бы его или, прижавшись к нему лицом, просто смотрела бы на свет камина. Теперь она боялась подолгу думать о Лимасе: если долго думать, никак не вспомнить его лицо. Поэтому она позволяла себе думать о нем лишь мельком — так бросают взгляд на далекий горизонт,— и тогда всплывали разные мелочи: что он сказал, что делал, как смотрел на нее, а чаще не замечал. Ужасно, что у нее ничего не осталось на память: ни фотографии, ни сувенира — ничего. Даже ни одного общего друга. Только мисс Крэйл из библиотеки знала его, и теперь ее ненависть к нему была оправдана: сбежал-таки негодяй! Лиза однажды зашла на ту квартиру, где он жил, и встретилась с хозяином. Зачем? Она сама не знала. Но набралась мужества и пошла. Хозяин о нем очень хорошо отзывался. Мистер Лимас платил исправно до самого конца, как истый джентльмен, больше недельки-другой ждать не приходилось, никогда не было с ним ни забот, ни хлопот. Он всем так и говорил: мистер Лимас — настоящий джентльмен. Нет, при чем тут университеты, разве в них дело... Иногда, правда, он выглядел немного угрюмым, так оно и понятно — пил больше положенного. Но чтобы буянить и всякое такое — ни-ни. Очень порядочный человек. А вот очкарик, который здесь все вертится да интересуется Лимасом, хоть и предлагал заплатить, если тот задолжал, все равно не джентльмен: джентльмены так не пристают с расспросами, это уж точно. Где Лимас брал деньги — Бог его знает, но человек он был самостоятельный, а не проходимец какой-то. А что Форда, лавочника, поколотил, так поделом, давно следовало. Его комнату? Да уже сняли — один джентльмен из Кореи. Через два дня после того как мистера Лимаса забрали.

Возможно, потому она и продолжала работать в библиотеке, что там оставались хоть какие-то следы его существования. Лесенка, полки, книги, указатель — он их видел, прикасался руками. Может быть, он вернется к ним когда-нибудь. Сказал, что никогда, а она не верила. Как поверить, когда тебе говорят: «Надежды на ваше выздоровление нет»? Мисс Крэйл, та не сомневалась, что он вернется, но только потому, что недоплатила ему какую-то мелочь. А смириться с мыслью, что это чудовище окажется не таким уж страшным и не придет за тем, что ему причитается, она не могла. После исчезновения Лимаса Лиза ни разу не позволила себе задаться вопросом: почему все-таки он побил мистера Форда? Она знала, что у Лимаса ужасный характер, но характер тут был ни при чем. Он заранее собирался это сделать и только ждал, пока выздоровеет. Иначе зачем бы он прощался с ней накануне? Очень просто — знал, что на следующий день побьет мистера Форда. Она отказывалась допустить другое объяснение: она ему надоела, он решил с ней порвать, попрощался и на следующий день, еще наэлектризованный расставанием, вышел из себя и побил мистера Форда. Она знала, она всегда знала, что Алек должен что-то сделать,— да он и сам на это намекал,— но что именно над ним тяготело, понять не могла.

Сначала она подумала, что у него с мистером Фордом какая-то давнишняя ссора. Возможно, женщина замешана, возможно, семья Алека. Но нет, стоит только посмотреть на мистера Форда, чтобы понять, насколько смешна эта мысль. Обыватель из обывателей. Осторожненький, самодовольненький, подленький. Но даже если бы Алек хотел отомстить такому вот мистеру Форду, зачем бы он пришел к нему в субботу, в разгар дня, когда в лавке полно народу?

Об этом случае говорили на собрании их партийной ячейки. Джордж Хенби, казначей ячейки, как раз проходил в тот момент мимо лавки Форда. Подробностей он не разглядел из-за толпы, но кто-то из тех, что видел всю сцену, рассказал ему, как было дело. На Джорджа история произвела такое впечатление, что он позвонил в Worker, и из редакции на суд направили корреспондента. Так и получилось, что газета отвела происшествию целые полстраницы. Яркий пример протеста, пробуждение социального самосознания, ненависть к эксплуататорскому классу... А тот тип из толпы (простой парень в очках, невысокого роста, видно, мелкий чиновник) сказал, что это была обычная ссора, не больше. Что ж, Хенби только лишний раз убедился, насколько затуманено сознание простого человека капиталистической системой. Лиза держалась спокойно во время рассказа Хенби: никто, конечно, не знал о ее связи с Лимасом. Она ненавидела Джорджа Хенби: напыщенный сальный сморчок, вечно облизывается на нее, как кот на масло, так и норовит прикоснуться к ней.

И вот к ней зашли.

В маленькой черной машине с антенной приехали двое. Для полицейских слишком толковые, подумала она. Один полноватый, маленький, в дорогом, правда, несколько кричащем костюме, в очках, любезный, заботливый. Сама не зная почему, Лиза почувствовала к нему доверие. Второй спокойный, с юношеским лицом, хотя она дала бы ему лет сорок. Они сказали, что приехали из отдела государственной безопасности. У них при себе были удостоверения с фотографиями. Говорил преимущественно полноватый.

— Я полагаю, вы были близки с Алеком Лимасом? — начал он.

Она готова была вспыхнуть, но человек говорил настолько чистосердечно, что раздражение показалось бы просто глупым.

— Да,— ответила Лиза.— Откуда вы знаете?

— Случайно выяснили на следующий день. Когда попадаешь в... тюрьму, положено называть близких родственников. Лимас сказал, что у него их нет. Тогда спросили, кому сообщить, если в тюрьме с ним что-нибудь случится. Он назвал вас.

— Поняла.

— Кто-нибудь еще знает, что вы были с ним дружны?

— Нет.

— Вы присутствовали на суде?

— Нет.

— Вам не звонили журналисты, кредиторы? Никто, никто?

— Нет, я же вам уже сказала. Никто не знает. Даже мои родители. Мы работали вместе в библиотеке, так что могла бы знать мисс Крэйл, библиотекарша, но, думаю, ей и в голову не приходило, что мы с ним не только сотрудники: она странная особа,— сказала Лиза просто.

Человек очень серьезно посмотрел на нее и спросил:

— Вас удивило, что Лимас побил мистера Форда?

— Конечно.

— А как вы думаете, почему он это сделал?

— Не знаю. Вроде бы потому, что Форд не хотел отпустить ему в кредит. Но я полагаю, что он замыслил его побить еще раньше.

У нее, правда, мелькнуло в голове: «А не говорю ли я лишнего?», но удержаться от того, чтобы с кем-то поделиться, она не могла. Она была так одинока и... не видела в своих словах никакой опасности.

— Накануне, перед тем как это случилось, мы беседовали за ужином. Ужин был необычный, но Алек сказал: «Так надо», и я поняла, что это наш последний вечер. Он достал откуда-то бутылку красного вина. Я не люблю красное вино... Почти все выпил Алек. Я спросила: «Мы прощаемся навсегда?»

— А он что сказал?

— Что у него есть какое-то дело. Он должен рассчитаться с кем-то, кто обидел его приятеля. Я толком так и не поняла.

Наступило долгое молчание. Маленький человек казался очень озабоченным. Наконец, он спросил:

— Вы в это верите?

— Не знаю.

Она вдруг безумно испугалась за Алека. А маленький человек спросил:

— Лимас вам говорил, что у него двое детей? — Лиза не ответила.— Несмотря на это, он назвал вас как близкую родственницу. Что вы думаете об этом? Почему он так поступил?

Он, казалось, сам смутился от такого вопроса и стал виновато разглядывать свои руки, скрещенные на коленях. Лиза покраснела.

— Я была в него влюблена.

— А он в вас?

— Может быть, не знаю.

— Вы продолжаете его любить до сих пор?

— Да.

— Говорил ли он, что вернется? — спросил моложавый.

— Нет.

— Но он же прощался с вами? — поспешил спросить другой.— Прощался он с вами? — медленно и любезно повторил он вопрос.— С ним ничего не случится, обещаю вам. Мы хотим ему помочь, и если вы знаете, почему он побил Форда, если вы о чем-нибудь догадываетесь по некоторым его словам или, может быть, действиям, скажите нам ради Алека.

Лиза тряхнула головой.

— Пожалуйста, уйдите,— попросила она,— не спрашивайте меня больше ни о чем. Уходите, пожалуйста.

Дойдя до двери, маленький человек помедлил, затем достал из бумажника визитную карточку и положил на стол так осторожно, словно боялся нашуметь. «Очень застенчивый»,— подумала Лиза.

— Если вам когда-нибудь понадобится помощь, если что-нибудь случится с Лимасом, позвоните мне,— сказал он.— Вы меня поняли?

— Кто вы такой?

— Друг Алека Лимаса,— он помолчал.— И еще один последний вопрос. Алек знал, что вы.. член компартии?

— Да,— ответила она упавшим голосом.— Я ему говорила.

— В партии знают о вашей связи с Алеком?

— Я уже вам сказала: никто не знает,— она вдруг побледнела и расплакалась.— Где он? Скажите мне, где он. Почему вы не хотите мне сказать, где он? Я могу помочь ему — как вы не понимаете! Я буду ухаживать за ним, даже если он... сошел с ума. Для меня не имеет значения, клянусь вам, не имеет... Я написала ему в тюрьму. Я знаю, мне не следовало этого делать. Но я хотела ему сказать, что он может вернуться когда угодно — я всегда его жду...

Она больше не могла говорить и только рыдала, стоя посреди комнаты и закрыв лицо руками. Маленький человек смотрел на нее.

— Алек уехал за границу,— сказал он мягко.— Мы точно не знаем, куда. С ума он не сошел, но вам не должен был ничего говорить. Какая жалость!

— Мы позаботимся о вас. Деньги и всякое такое,— сказал моложавый.

— Кто вы такие? — опять спросила Лиза.

— Друзья Алека,— ответил он,— близкие его друзья.

Она слышала, как они спокойно спустились по лестнице и вышли на улицу. Она подошла к окну. Они сели в маленькую черную машину и уехали по направлению к парку.

Тут она вспомнила про визитную карточку. Подошла к столу, взяла ее и поднесла к свету. Отпечатана красиво, видно, дорогая. Полиция на такую тратиться не станет. Ни звания, ни профессии — ничего, кроме «мистер». Никакого упоминания о полицейском участке. Да и где это слыхано, чтобы полицейский жил в Челси!

«Мистер Джордж Смили. 9 Байсуотер-стрит, Челси».

Строкой ниже — номер телефона.

Очень странно.

НА ВОСТОК

У людей, приговоренных к смерти, иногда наступают минуты душевного подъема. В таких случаях, подобно мотылькам, сгорающим в огне, они уходят в небытие на вершине бытия, как сказал один современный писатель. Нечто подобное испытывал Лимас, приняв решение. Чувство облегчения и успокоенности ненадолго посетило его и затем сменилось страхом и голодом.

Да, он сильно сдал. Контролл был прав.

Он заметил в себе перемену еще год тому назад, когда случилась эта история с Римеком. Карл послал Лимасу записку, что-то ему нужно было, ради чего он специально предпринял одну из своих редких поездок в Западную Германию. Как раз подвернулась какая-то конференция в Карлсруэ.

Лимасу удалось вылететь в Кельн, и в аэропорту он сразу же нашел машину. Было раннее утро, и Лимас надеялся, что большого движения еще не будет. Но тяжелые грузовики уже вовсю мчались по дороге. За полчаса он проехал всего семьдесят километров, с трудом лавируя между ними. Вдруг какая-то маленькая машина, возможно, «фиат», стала поперек дороги, ярдах в сорока перед ним. Лимас нажал на тормоз, включил передние фары и бешено засигналил. Божьей милостью и благодаря доле секунды уцелел. Проезжая мимо злополучной машины, он краем глаза увидел на заднем сиденье четырех детей, которые, смеясь, махали руками, и обалделое от испуга лицо отца, сидящего за рулем. Лимас, чертыхаясь, поехал дальше, и вдруг на него напало это состояние. Руки затряслись, лицо побагровело и заколотилось сердце.

Ему удалось выбраться из потока грузовиков, съехать с дороги на обочину и остановиться. Тяжело дыша, он не сводил невидящего взгляда с гигантских грузовиков. Перед глазами стоял образ маленькой машины, которую они зажали и давят до тех пор, пока от нее ничего не остается — только исступленный вой клаксонов, голубые вспышки фар и изуродованные детские тела, как у тех убитых беженцев на дороге через дюны.

Остаток пути он ехал очень медленно и пропустил встречу с Карлом.

С тех пор, когда он вел машину, со дна памяти неизбежно всплывал смутный образ взъерошенных детей, которые машут ему с заднего сиденья, и их отца, сжимающего руль, как фермер рукоятку плуга.

Контролл сказал бы: приступы лихорадки.

Мрачнее тучи сидел Лимас в самолете на уровне крыла. Рядом с ним сидела американка. Ноги в сапожках на высоких каблуках, а сверху еще прозрачные полиэтиленовые чехольчики. Мелькнула мысль передать через нее записку в Берлин, но он тут же от нее отказался. Американка решит, что он с ней заигрывает, да и Питерс заметит. А кроме того, зачем? Контролл и так знает, что с ним случилось, сам же все и подстроил, что ж тут сообщать...

Он хотел знать, что его ждет. А об этом как раз Контролл не говорил — только о тактике: «Не выкладывайте им все сразу, пусть покорпят, сбивайте с толку на мелочах, не договаривайте, путайте события во времени, будьте запальчивым, чудаковатым, трудным в общении, пейте, как сапожник, не пускайтесь в идеологическую аргументацию — они все равно не поверят: им хочется видеть перед собой человека, которого они купили, но который сопротивляется, а не переходит в их веру, они хотят делать выводы сами, почва подготовлена, мы давно ее обрабатываем — то там загадка, то тут недоразумение,— они на вас делают крупную ставку, вы — их главный козырь...»

Лимас принял предложение: как отказаться от решающей битвы, когда для ее успеха было проведено уже столько подготовительных...

— В одном я могу вас заверить, Алек: игра стоит свеч. Это дело заслуживает особого интереса. Дайте ему уцелеть, и мы одержим большую победу.

Лимас подумал, что не выдержит пыток. Ему вспомнилась книга Кестлера, где старый революционер готовил себя к пыткам, держа в пальцах зажженные спички. Много он не читал, но это место прочел и запомнил.

Уже почти стемнело, когда они приземлились в Темплхофе. Лимас смотрел, как навстречу им поднимаются огни Берлина, чувствовал толчок, когда самолет коснулся земли, видел таможенников и представителей иммиграционных властей, снующих в полутьме.

Вдруг он испугался, что в аэропорту кто-нибудь из бывших знакомых узнает его. И уже после таможенного досмотра и иммиграционной проверки, когда он прошел рядом с Питерсом нескончаемый коридор, так и не встретив ни одного знакомого лица, он понял, что испытывал не страх, а надежду: а вдруг его решение продолжать операцию сорвется по не зависящим от него причинам.

Он с интересом отметил, что Питерс даже не потрудился сделать вид, будто они между собой не знакомы, словно Западный Берлин был для него тем самым местом, где он находился в полной безопасности и мог позволить себе ослабить бдительность. Как будто переход в Восточный Берлин не требует ничего, кроме соблюдения формальностей.

Они вошли в большой зал регистрации и направились к центральному выходу, как вдруг Питерс, видимо, передумал и свернул к маленькой боковой двери, ведущей прямо к стоянке такси и частных машин. У дверей Питерс на секунду задержался под светом и, поставив чемодан рядом с собой, достал из-под мышки газету, сложил ее, засунул в левый карман и снова взял чемодан. Тотчас же со стороны стоянки зажглись фары, помигали и погасли.

— Идемте,— сказал Питерс и быстро пересек шоссе. Лимас медленно следовал за ним. Когда они дошли до первого ряда машин, в черном «мерседесе» зажегся свет и открылась задняя дверца. Питерс быстро сел в машину, что-то тихо сказал шоферу и поторопил Лимаса.

— Сюда. Побыстрей.

Старый «мерседес-180». Лимас молча сел на заднее сиденье рядом с Питерсом. Они проехали мимо маленького ДКВ, в котором на переднем сиденье сидели двое. Ярдах в двадцати вниз по дороге стояла телефонная будка. Какой-то человек разговаривал по телефону, наблюдая за ними. Лимас оглянулся — ДКВ ехал следом.

«Ну и прием!» — подумал Лимас.

Ехали очень медленно. Лимас сидел, сложив руки на коленях, и смотрел прямо перед собой. Ему не хотелось видеть Берлин этим вечером. Хотя он знал — другого случая у него уже не будет никогда. С того места, где он сидел, он мог резануть правой рукой Питерсу по горлу, выскочить из машины и, петляя, чтоб не попасть под пули, которые полетят из ДКВ, бежать. Он был бы свободен. В Берлине есть люди, которые позаботились бы о нем. Можно бежать.

Он не шевельнулся.

Пересечь пограничный сектор оказалось очень легко. Лимас не ожидал, что это настолько легко. Минут десять машина кружила бесцельно, и Лимас догадался, что они выжидают заранее обусловленное время. Когда они наконец подъехали к западногерманскому КПП, их с ревом обогнал ДКВ и остановился у полицейской будки. Минуты через две белый в красную полосу шлагбаум поднялся, чтобы пропустить ДКВ. В ту же секунду взревел мотор «мерседеса», шофер дал газ, откинулся на спинку сиденья, вцепился руками в руль, и обе машины проскочили одновременно.

Пока они проезжали ярдов пятьдесят до второго КПП, Лимас сообразил, что на восточной стороне возведены новые укрепления: редань, наблюдательные вышки, колючая проволока. Ну, дело швах.

У второго КПП «мерседес» не остановился — шлагбаумы были открыты, и они проехали прямо. Полицейские только наблюдали за ними в бинокли. ДКВ куда-то исчез, и лишь минут через десять Лимас увидел его снова. Теперь ехали быстро. Лимас подумал, что они остановятся в Восточном Берлине, скажем, сменить машины, поздравить друг друга с успешной операцией, но они пересекли город и продолжали мчаться на восток.

— Куда мы едем? — спросил он Питерса.

— А мы уже приехали. Германская Демократическая Республика. Вам приготовлен номер в гостинице.

— Я думал, мы поедем дальше.

— Поедем. Но сначала дня два проведем здесь. Мы считаем, что немцы должны с вами поговорить.

— Ясно.

— В конце концов большую часть времени вы занимались ими. Я им направил выдержки из ваших показаний.

— И они захотели со мной встретиться?

— Такая фигура, как вы, которая стояла, можно сказать, у самых истоков информации, им еще не попадалась. Мои люди согласились дать им возможность встретиться с вами.

— А потом? Куда мы отправимся из Германии?

— Опять же на Восток.

— А с кем я встречусь здесь?

— Для вас это важно?

— Не особенно. Я просто знаю по фамилиям большинство людей из их разведки и поэтому спрашиваю. Из любопытства.

— С кем же, вы предполагаете, вам предстоит встретиться?

— С Фидлером,— не задумываясь, ответил Лимас.— Он возглавляет отдел безопасности. Из людей Мундта. Все важные допросы проводит он. Лично. Подонок из подонков.

— Почему?

— Кровожадный ублюдок. Я о нем слышал. Схватил агента из цепочки Питера Гийома и чуть не прикончил на месте, гад такой.

— Шпионаж — не крокет,— отрезал Питерс и замолчал.

«Значит, Фидлер»,— подумал Лимас.

Ну, что ж, Лимас знал Фидлера. По фотографиям в папке и по отчетам своих бывших подчиненных. Стройный, подтянутый, довольно молодой, гладко выбрит, темные волосы, блестящие карие глаза. «Умный и жестокий»,— так сказал о нем тогда Лимас, просмотрев фотографии. Гибкое тело, быстрые движения, обладает терпением и хорошей памятью. Человек, видимо, не самолюбивый, но беспощадный к другим. Фидлер составлял исключение в службе безопасности, не участвовал в интригах и, вероятно, довольствовался своим местом в тени Мундта, причем без всяких видов на продвижение. Его нельзя было причислить ни к одной из группировок. Даже близкие сотрудники не могли бы сказать, как далеко простирается его власть. Он находился в полном одиночестве, неприятный тип, внушающий страх и недоверие. Каковы бы ни были его помыслы, он их скрывал за разящим сарказмом.

— Фидлер — наша лучшая ставка,— объяснял Контролл. Они тогда сидели за ужином среди резных индийских столиков — Лимас, Контролл и Питер Гийом — в мрачном домике (вот-вот войдут его хозяева — семь гномов), в котором жил Контролл со своей дурой-женой. Сидели и беседовали.

— Фидлер — церковный служка, из тех, что в один прекрасный день вонзит нож священнику в спину. Единственный достойный соперник Мундта,— Гийом утвердительно кивнул,— и главный его ненавистник. Фидлер, конечно, еврей, а Мундт, совсем наоборот, ариец. Сочетание, как видите, не из лучших. Дать Фидлеру в руки оружие против Мундта — наша работа,— он показал на себя и на Гийома.— Помочь ему воспользоваться этим оружием — ваша, дорогой Лимас. Помочь, разумеется, косвенно, поскольку лично вы с ним никогда не встретитесь. По крайней мере я на это очень надеюсь.

Все трое рассмеялись. Тогда шутка показалась удачной. Во всяком случае, по сравнению с теми, на какие способен Контролл.

Должно быть, уже перевалило за полночь.

Некоторое время они еще катили по немощеной дороге то через лес, то по открытой местности, и, наконец, остановились. Через минуту их догнал ДКВ. Когда Лимас с Питерсом вышли из машины, Лимас заметил, что в ДКВ приехали уже три человека: двое вышли, а третий остался на заднем сиденье и при свете верхней лампочки читает какие-то бумаги, пряча лицо в тень.

Они стояли у бывших конюшен, ярдах в тридцати от небольшого дома. При свете передних фар Лимас мельком разглядел его: низкий, стены из белого кирпича и бревен, фермерского типа. Луна уже взошла и светила так ярко, что лесистые холмы четко вырисовывались на фоне бледного ночного неба. Они пошли к дому — Питерс с Лимасом впереди,

двое сопровождающих за ними. Человек, сидевший в ДКВ, продолжал читать.

Дойдя до дверей, Питерс остановился, поджидая охранников. У одного из них в левой руке была связка ключей, и, пока он их перебирал, второй прикрывал его, держа руки в карманах.

— Страхуются,— заметил Лимас.— Интересно, что они думают о том, кто я такой?

— Им платят не за то, чтобы они думали,— ответил Питерс и, обратившись к одному из охранников, спросил по-немецки:

— Он уже приехал?

Тот пожал плечами, оглянулся на машину и сказал:

— Приедет. Он любит ездить один.

Они проследовали за одним из охранников в дом. Напоминает охотничий домик. Не слишком старый, но и не новый. Под потолком слабо светит лампочка. Вид довольно запущенный, даже плесень есть. Возможно, дом открыли специально для них. А вот и признаки официального помещения: памятка о том, что нужно делать в случае пожара, на дверях тяжелая пружина и зеленой краской выведены правила внутреннего распорядка, а в довольно комфортабельно обставленной гостиной с массивной темной мебелью неизбежные портреты советских вождей. Лимас узнал в этой погрешности против строгой анонимности бюрократическую сторону службы безопасности; в этом было что-то общее с Кембриджской площадью.

Питерс уселся. Лимас последовал его примеру. Прошло минут десять, если не больше, пока Питерс заговорил с одним из охранников, торчавших в другом конце комнаты.

— Пойдите, скажите ему, что мы ждем. И принесите что-нибудь поесть, мы проголодались. И виски. Напомните им про виски и про стаканы,— добавил Питерс, когда охранник уже пошел к дверям.

Тот неопределенно пожал могучими плечами и вышел, не закрыв за собой дверь.

— Вы здесь раньше бывали? — спросил Лимас.

— Да,— ответил Питерс,— неоднократно.

— Зачем?

— Все за тем же, что и сейчас. Не точно в таких же случаях, но, в общем, по нашей работе.

— С Фидлером?

— Да.

— Что он собой представляет?

— Для еврея — вполне сносный,— пожал плечами Питерс.

Лимас услышал какие-то звуки, оглянулся и увидел в дверях Фидлера. В одной руке — бутылка виски, в другой — стаканы и минеральная вода. Ниже среднего роста, в темно-синем однобортном костюме, пиджак слишком длинный. Холеный зверь с горящими карими глазами.

Не взглянув на них, он обратился к охраннику:

— Убирайся,— сказал он с сильным саксонским акцентом,— и скажи напарнику, чтоб принес поесть.

— Я уже ему сказал, что мы проголодались,— заметил Питерс,— так что они уже знают, но ничего не несут.

— Ишь, индюки надутые,— сухо заметил Фидлер по-английски,— думают, у нас есть специальные официанты.

Фидлер провел войну в Канаде. Теперь, когда Лимас услышал его акцент, он об этом вспомнил. Родители Фидлера — немецкие евреи, марксисты, бежавшие от Гитлера, и только в 1946 году семья вернулась на родину, одержимая желанием, чего бы ей это ни стоило, принять личное участие в создании Германии сталинского типа.

— Привет,— бросил Фидлер мимоходом Лимасу,— рад вас видеть.

— Привет, Фидлер.

— Вот вы и добрались до конечного пункта следования.

— Что вы, черт возьми, хотите этим сказать? — всполошился Лимас.

— Что дальше на Восток вы не поедете, что бы вам ни говорил Питерс. Сожалею, но... — Он явно подтрунивал.

Лимас обернулся к Питерсу.

— Это верно? — его голос хрипел от ярости.— Верно?

— Да,— кивнул Питерс. — Я только посредник. Мы были вынуждены действовать таким образом. От души сожалею,— добавил он.

— Почему вы пошли на этот обман?

— В силу чрезвычайных обстоятельств,— вмешался Фидлер.— Ваш первый допрос проводился на Западе, где нам могло бы помочь посольство. Но Германская Демократическая Республика не имеет посольства на Западе. Пока. Поэтому мы обеспечиваем себе связи и безопасность, в которых нам сейчас отказано, через посредника.

— Подонок,— прошипел Лимас,— вонючий подонок. Вы прекрасно знали, что я в жизни не доверился бы вашей гнусной разведке. поэтому вы и пошли на подлый обман, призвав на помощь русского.

— Мы воспользовались советским посольством в Гааге. А что нам оставалось делать? До сих пор операция касалась только нас. Но ни мы и никто другой не могли знать, что в Англии так быстро нападут на ваш след.

— Ах, вот оно что! И когда устроили за мной слежку, тоже не знали? Или не так было дело, Фидлер? Ну, что?

«Не забывайте, что вы должны их ненавидеть,— сказал Контролл,— тогда они будут ценить сведения, которые вытянут из вас».

— Абсурд,— отрезал Фидлер и, повернувшись к Питерсу, что-то сказал по-русски.

Питерс кивнул и встал.

— До свидания, Лимас,— сказал он.— Всего доброго.

Он устало улыбнулся, кивнул Фидлеру и уже взялся за ручку двери, но обернулся и еще раз сказал Лимасу: «Желаю удачи». Ему, видно, хотелось, чтобы Лимас что-нибудь ответил, но Лимас, казалось, не слышал. Смертельно побледнев, он скрестил руки перед собой, кулаками наружу, словно готовился к борьбе. Питерс остался стоять у дверей.

— Мне следовало бы знать,— сказал Лимас срывающимся от гнева голосом,— я должен был догадаться, что у вас кишка тонка проворачивать ваши грязные делишки самому, Фидлер. Типичная история для вашей жалкой половинки Германии и для вашего вонючего шпионажа — пусть великий брат сводничает за вас. Разве ваша Германия страна? Разве это правительство? Пятисортная диктатура политических невротиков! — Лимас продолжал кричать, тыча пальцем в сторону Фидлера. — А вы — грязный садист, я вас знаю. От вас ничего другого и ожидать нельзя. Во время войны вы отсиживались в Канаде. Ведь отсиживались же? Неплохое местечко, верно? А когда пролетал самолет, ручаюсь, прятали свою паршивую башку в мамину юбку. А теперь кто вы такой? Прислужник, пресмыкающийся перед Мундтом, и двадцать две русские дивизии стоят у крылечка вашей мамочки. Мне жаль вас, Фидлер. Что с вами будет, когда в один прекрасный день вы проснетесь, а дивизии ушли! Вас же растерзают! И ни мама, ни великий брат не избавят вас от расправы, которую вы заслужили.

Фидлер пожал плечами.

— Рассматривайте это как визит к зубному врачу, Лимас. Чем скорее закончим дело, тем скорее вы сможете уехать домой. Поешьте и отправляйтесь в постель.

— Вы прекрасно знаете, что я не смогу уехать домой,— отбрил Лимас.— Вы позаботились, чтобы я никогда не увидел над собой неба Англии. Вы оба постарались. Я ни за что не приехал бы сюда, если бы меня не вынудили — вы это знаете.

Фидлер смотрел на свои тонкие сильные пальцы.

— Сейчас вряд ли время философствовать,— сказал он,— но вам действительно не на что жаловаться. Вся наша работа — как моя, так и ваша — держится на том, что общее дело важнее личного. Вот почему коммунист рассматривает свою секретную службу как естественное продолжение партийного аппарата, и вот почему в вашей стране разведка прячется под личиной английской добропорядочности. Эксплуатация отдельных личностей оправдывается только коллективными интересами, верно? Ваше негодование мне кажется просто смешным. Мы здесь находимся не для соблюдения этических норм английской идиллии. А кстати, ваше поведение,— добавил он язвительно,— по пуританским понятиям, далеко не безупречно.

Лимас смотрел на Фидлера с отвращением.

— Ваши приемы мне известны. Вы — прихвостень Мундта. Говорят, вы хотите занять его пост. Думаю, теперь вы его получите. Династия Мундта кончается, возможно, эта операция и есть последний удар.

— Не понял,— заметил Фидлер.

— Я — ваша большая удача, верно? — фыркнул Лимас.

Фидлер, казалось, задумался, потом пожал плечами и сказал:

— Операция действительно успешная. А чего стоите вы — вопрос спорный. Но, по законам нашей профессии, операция удачная: она сработала.

— Надо полагать, вы свой куш уже сорвали? — не унимался Лимас, показывая глазами на Питерса.

— Ни о каком куше речи быть не может,— отрезал Фидлер. Он уселся на валик софы, задумчиво посмотрел на Лимаса и продолжал: — Но один повод для обиды у вас, несомненно, есть. Кто донес вашим людям в Англии, что мы вас завербовали? Не мы. Можете мне не верить, дело ваше, но в данном случае это правда. Мы не были в этом заинтересованы, так как хотели, чтобы вы потом остались работать на нас. Теперь я, правда, вижу, насколько эта мысль была абсурдной. Кто же им сказал? Вы исчезли бесследно, ни адреса, ни связей, ни друзей. Какой же дьявол нашептал им в уши, что вы уехали? Кто-то же им сказал! Вряд ли Эйш или Кивер, поскольку оба они сейчас арестованы.

— Арестованы?

— По всей видимости. Не из-за вас — у них были другие дела.

— Так-так...

— Я сейчас скажу вам истинную правду. Мы могли бы удовлетвориться отчетом Питерса из Голландии, а вы могли бы получить деньги и уехать. Но вы нам не все сообщили. Мне же нужно знать все. В конце концов ваше пребывание здесь ставит, знаете ли, и нас в затруднительное положение.

— Согласен, ваши планы тоже нарушились. Но я в ваших руках — я и это понимаю.

Наступило молчание. Питерс недружелюбно кивнул Фидлеру и вышел.

Фидлер налил немного виски в оба стакана.

— Извините, у нас нет содовой,— сказал он.— Будете пить с водой? Я содовую заказал, но они принесли отвратительный лимонад.

— Пойдите-ка вы к черту,— сказал Лимас, почувствовав вдруг страшную усталость.

Фидлер покачал головой.

— Вы очень гордый человек,— заметил он,— но не в том дело. Поужинайте и ложитесь спать.

Один из охранников принес черный хлеб, колбасу и салат.

— Не слишком изысканно,— заметил Фидлер,— но сытно. Жаль, картошки нет. С картошкой у нас временные трудности.

Они молча принялись за еду. Фидлер ел, как человек, рассчитывающий калории.

Охранники показали Лимасу его комнату. Чемодан он нес сам — тот самый чемодан, который дал ему Кивер перед вылетом из Англии,— и Лимас шел с ним между двумя охранниками по широкому коридору, тянущемуся от входной двери через весь дом. Дойдя до широкой двустворчатой двери, выкрашенной в темно-зеленый цвет, один из охранников отпер ее и знаком велел Лимасу войти первым. Лимас толкнул дверь и очутился в маленькой комнате казарменного типа с двумя койками, стулом и грубым столом. Нечто вроде тюремной камеры. На стенах фотографии девиц, на окнах ставни. В дальнем углу еще одна дверь. Охранники показали на нее. Поставив чемодан, Лимас прошел в следующую комнату. Она ничем не отличалась от первой, только вместо двух коек стояла одна, и стены были голыми.

— Принесите мой чемодан,— сказал он,— я устал.

Не раздеваясь, он улегся на койку и через несколько минут забылся глубоким сном.

Перевела с английского С. ТАРТАКОВСКАЯ.

Продолжение следует.



Ольга БЕРГГОЛЬЦ

«ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ»

Перед вами фрагменты главной книги Ольги Берггольц «Дневные звезды», незаконченная вторая часть. Почему подборка отрывочна?

Архив Ольги не однажды подвергался конфискации, — официально — в 1938 году, при аресте, и неофициально — после ее смерти.

Ольга говорила мне году в 74—75-м: «Книга вся — здесь, в этих чемоданах — только собрать!» (Писала, как и первую часть, отдельными отрывками, часто называя их статьями.) Эти чемоданы стояли у нее под кроватью, последние годы служившей рабочим местом (боль в спине, перелом ноги).

Когда я пробилась к описи ее бумаг, первое, что мы, участники описи, сделали,— открыли эти чемоданы: один был просто пуст, во втором лежала объемистая папка с наклейкой: «Дневные звезды, II часть. Опись внутри. Важная папка! К исповеди сына века, заметки, наброски, Мерецков. Дневник мой с июля 1939 — март 1940. О Мерецкове, о Баршеве и т. д.». Папка тоже была пуста. Лежал там один сиротливый листок, но не опись... Я хотела сфотографировать папку с автографом, но нотариус (зав. отделом наследования) не дала... В других чемоданах и ящиках в страшном беспорядке лежали рукописи, письма, рабочие тетради и часть дневников. Но с течением времени (архив сейчас в ЦГАЛИ) многое находится. Часть найденного мы представляем вниманию читателя.

«Дороги человечества устланы костьми тех, кто обогнал свой век». Так оно и есть. Но все же приходят времена, настигающие своих предтечей! И как бы трудны ни были эти времена — слава им! Становится ясно, что не зря положили люди живот свой за други своя. (Или, как писала Ольга: «Не может быть, чтоб жили мы напрасно!»)

Запись о Мерецкове объяснит многим, вопрошающим меня, как же она, все понимая, могла стать духовной опорой Ленинграда. А она действительно понимала:

Они ковали нам цепи,
а мы прославляли их...
Мне стыдно моих сограждан,
как мертвых, так и живых...

Это Ольга написала в 1939 году.

План II части «Дневных звезд» менялся несколько раз. Последний, очень дорогой для Ольги вариант: непрерывное письмо Коле, Николаю Молчанову — мужу и главному человеку, погибшему в блокаду,— со свободными «ответвлениями» этого письма.

Мария Федоровна БЕРГГОЛЬЦ.



ПРОЩАНИЕ С КОЛЕЙ

Как он стоял нагой и как я целовала его, стоя на колене перед ним, его ноги, его колени, его бедра, все его прекрасное, прохладное тело, которое могло быть уже завтра изуродовано, растерзано в клочки. Но сейчас оно было прекрасно, молодо, полно сил.

Я целовала его бедра, его живот, его плечи, постепенно подымаясь с колена, и он стоял неподвижно и не смущался, понимая, что это не поцелуи жены и любовницы, но женщины, отпускающей мужчину в бой (но как все женщины — всех мужчин, идущих, уходящих на войну).

Я поднялась, и мы поцеловались в губы долгим и глубоким поцелуем. Нет, мы не желали друг друга, ни он меня, ни я его. Ибо это не было прощанием

У «Исаакия» в дни блокады. 1942 г. Фото Анатолия ГАРАНИНА

любовников, но прощанием людей, вступивших в Войну*.

Из дневника: запись 11.I.47 г., стр. 14.

А оба моих — Коля и Ирочка — умирали под знаменами. Последними словами Ирочки были слова: «Опустите стяги!» Откуда она знала это слово? Я не говорила ей его. Она взглянула на стенку уже стекленеющими глазами — гордо, надменно, обиженно и прошептала это повелительно, достойно...

И когда я последний раз, накануне смерти, видела Колю, он тоже надменно, дико глядя перед собою, прошептал: «Склоните знамена».

И я окончательно поняла, что он умирает, потому что вспомнила последнюю фразу Ирочки.

БЛОКАДНАЯ БАНЯ

Это было весной 1942 года, в Ленинграде. Я вошла в баню. Было тихо. И глаза у женщин были тихие, не выражавшие ни горя, ни отчаяния, а какую-то застывшую мысль, тяжкую и безнадежную, выражающие долгий-долгий безмолвный упрек, но и упрек этот был не кричащим, не страстным, а застывшим, постоянным. Знаменитые глаза ленинградок — пустые, тяжелые и сосредоточенные, взглянул человек на что-то ужасное, так оно у него там и осталось. Они тихо передвигались по бане — усталость чувствовалась во всех их движениях. И они не прилагали усилий к тому, чтобы сделать свои движения более бодрыми — к чему? Так далеко уже зашла усталость. Они наливали тазики менее чем до половины — больше никто не мог приподнять. Потихоньку, движениями, похожими на движения в замедленном немом кино, терли друг другу спины. Какая-то особая вежливость царила в бане, никто не лаялся, уступали друг другу место, делились мылом,— и было в этой вежливости нечто болезненное и опять же усталое. Так примерно вежливы люди друг с другом при панихиде. Да, то была дистрофическая вежливость. И еще это было оттого, что слишком отвыкли мы от такого явления, как баня, и место это, раньше бытовое и обычное, казалось каким-то небывалым — пришли куда-то туда, где еще не известно, как вести себя. И вода лилась тощей струйкой и была чуть тепленькая, тоже дистрофическая вода, даже вода в этом городе была дистрофической. О печаль, печаль! Я сначала чувствовала в себе это страшное рыдание по человечеству, а потом, как и все, также только усталость. Я люблю воду, но вода не радовала меня, а как-то раздражала, до ощущения детских бессильных слез — так хнычет поправляющийся очень слабый ребенок, который не в силах удержать в руках старую любимую игрушку, или завести ее, или там что... В общем, сделать то, что он делал раньше с той же вещью. И это дает ему ощущение своей противной слабости и причиняет глубокую боль утраты так же, как все, что было «до». Я, закрыв глаза, плескалась в тазу, в чуть тепловатой воде. Но она не принесла мне радости. Я только вспомнила факты, почувствовав, что море «было», и ничего не ощутила в связи с этим прозрением, чисто головным...

Потом я посмотрела на женщин... Темные, обтянутые шершавой кожей тела женщин — нет, даже не женщин — на женщин они походить перестали — груди у них исчезли, животы ввалились, багровые и синие пятна цинги ползли по коже. У некоторых же животы были безобразно вспучены,— над тонкими ножками,— ножки без икр, где самая толстая часть — щиколотка. Эти черные или иссиня-бледные тени, не похожие на женщин, на отвратительно тонких ногах, у которых была отнята вся женская прелесть, вся женская сущность, на которую человечество молилось и любовалось, лучшее его наслаждение, мадонна, его матерь, его любовница, женская красота, что с нею сталось?! До какого же ужаса и отчаяния и позора докатилось человечество, если его женщины стали такими, если оно допустило так исказить женщину! Повторяю, оторванные руки и ноги — ничто в сравнении с этими костлявыми телами: ведь отсутствие рук не уродует Венеру. Здесь же все было на месте и ничего не было. Следовало бы рыдать, глядя на множество этих женщин, следовало изумляться, как решились они обнажить в свете дня столь поруганное, истощенное, темное и пятнистое тело.

О, сын человеческий, сын человеческий! Что ты сделал со своей матерью, сестрой, дочкой, любовницей? Как посмел ты допустить, чтоб стояла она здесь попранная, не стыдясь поругания самого чистого своего богатства — своего тела.

И вдруг вошла молодая женщина. Она была гладкая, белая, поблескивающая золотыми волосками. Кожа ее светилась, гладкая и блестящая. Груди были крепкие, круглые, почти стоячие, с нагло розовыми сосками. Округлый живот, упругие овальные линии, плечи без единой косточки, пушистые волосы, а главное — этот жемчужно-молочный, кустодиевский цвет кожи — нестерпимый на фоне коричневых, синих и пятнистых тел. Мы не испугались бы более, если бы в баню вошел скелет, но вздох прокатился по бане, когда она вошла. О, как она была страшна — страшна своей нормальной, пышущей здоровьем, вечной женской плотью. Как это могло сохраниться? Она была не просто страшнее всех нас. Она была тошнотворна, противна и отвратительна — своими круглыми грудями, созданными для того, чтобы мужчина мял их и тискал, задыхаясь от желания, своими ляжками,— всем этим предназначенным для постели, для совокупления, для зачатья,— для всего того, чего теперь не могло и не должно быть, что было естественным, а стало постыдным, так как стало невозможным, запретным. Да как она смела — такая войти сюда, в это страшное помещение, где были выставлены самые чудовищные унижения и ужасы войны — как она осмелилась, сволочь, оскорбить все это своим прекрасным, здоровым телом?

Женщины, ошалелые от этого кощунства, шептали за ее спиной:

— Здоровая!

— Румяная!

— Толстая!

К ней неслось тихое шипение отвращения, презрения, негодования, чуть не каждая женщина, взглянув на нее, шептала: — Б... б... б...

Не должно ее было быть здесь.

— Спала с каким-нибудь заведующим столовой, а он воровал,— говорили женщины.

— Наверное, сама воровала, крала.

— Детей, нас обворовывала.

И страшная костлявая женщина, подойдя к ней, легонько хлопнула по ее заду и сказала шутя:

— Эй, красотка, не ходи сюда — съедим.

Раздался короткий тихий смех:

— Как раз. У нас недолго...

А ведь, может, она приехала на помощь Ленинграду...

Ее сторонились, ею брезговали, здоровой и цветущей, больные и тощие, бессильные люди — брезговали ею, как заразной больной, как прокаженной, не желая прикасаться к атласной ее, светящейся коже.

Так она была отвратительна — видение обыкновенной здоровой человеческой жизни, явление божественной плоти человека — венца создания — в том виде, как ему быть надлежит, явление чудотворной женской красоты, созданной для любви, материнства и деятельности.

Она вскрикнула, зарыдала, бросила таз и выбежала из помещения.

Потом был еще один случай. Я вынула голову из таза, она у меня кружилась. Я сидела, тяжело дыша, раскисшая, уставшая еще больше, равнодушная. Всхлипывающий влажный шепот, в котором слышались какие-то остатки страсти, привлек мое внимание. Это одна женщина рядом со мной так шептала. Глаза ее были устремлены на что-то впереди, и я поглядела туда же. Я увидела там старушоночку, блюзгавшуюся в мелком тазике. Даже при том уродстве, которое мы все собой представляли, эта старушоночка была исключительным явлением — до того мало человеческого в ней было. Она была как бы нарочно придуманная. Не темное, не коричневое, но как бы обугленное личико ее было составлено из хорошо видных костяшек, она была совершенно лысая, очень круглый выпирающий живот ее держался на паучьих ножках, да еще кила висела под животом,— в общем, она была похожа на паука, но отнюдь не на человека, даже не на обезьяну, а именно на паука. Она была живая, явно живая! В глубоко-глубоко сидящих под черепом глазках ее что-то светилось,— она блюзгалась, даже не блюзгалась, а смачивала маленькими нечеловеческими ладошками свой лысый череп. И если непонятно было, откуда пришла та, жалкая, бесстыжая, румяная, то эта, эта-то откуда выползла! Тварь! Неужели же у нас в страшном, голодном городе есть место, где водятся этакие старушоночки?

А соседка моя глядела на нее как зачарованная и шептала:

— Мой помер, молодой, красивый, а такая живет... — погиб, а такая живет... Вдруг только такие и останутся у нас на земле? За что же он погиб? За таких, за таких, за таких...

Старушоночка сидела на краю лавки, одиноко. Щедрый, широкий, мягко сияющий луч солнца лился на нее. Из трубы, проходившей возле лысой головы старушонки, брызгала, распыляясь на мельчайший веерок, струйка воды, и в этом водяном веерке плясала отчетливая семицветная радуга,— прямо над лысой, черной головкой старухи, которую она смачивала паучьими своими лапками,— вся коричневая, согнутая колесом, скелетоподобная, с гнусной килой внизу живота. Все наше поруганное сконцентрировалось в ней. Она сидела в добром луче солнца, с семицветным сиянием над головой,— она сидела, как сама Смерть, сама Война...

Я подумала:

— Да, вот так и выглядит сама война, она не в образе солдата, одетого в железное, не в образе гориллы в каске, не в образе танка, а в образе этой бессильной, лысой, еле живой, но живущей уродливой старушонки со случайной радугой над головой...

Ленинград.

Апрель 1962 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ И МЕРЕЦКОВ

Добровольский — сотрудник Дзержинского, старый большевик. Был заведующим музеем ГПУ — НКВД. Потом арестован, долго мыкался в нетях.

В 1941 году — комиссар 7-й армии.

Говорят: — Встречай командующего армией, смотри, чтобы не ушел к немцам, или чего с собой не сделал, а то — во: (к лицу Добровольского гепеушник подносит сжатый кулак).

Прилетел самолет, вылезает оттуда Мерецков, небритый, грязный, страшный, прямо из тюрьмы.

<Далее> Добровольский рассказывал: идет бриться. Добровольскому: — Ты, что ли, ко мне приставлен? Ну, пойдем на передний край.

Ходит, не сгибаясь, под пулями и минометным огнем, а сам туша — во.

— Товарищ командующий, вы бы поберeглись...

— Отстань. Страшно — не ходи рядом. А мне — не страшно. Мне жить противно,— понял. Ну, неинтересно мне жить. И если я что захочу с собой сделать — ты не уследишь. А к немцам я не побегу,— мне у них искать нечего... Я все уже у себя имел.

Я ему говорю: — Товарищ командующий, забудьте вы о том, что я за вами слежу и будто бы вам не доверяю... Я ведь все сам, такое же, как вы, испытал...

— А тебе на голову ссали?

— Нет... Этого не было.

— А у меня было. Мне ссали на голову. Один раз они били меня, били, я больше не могу: сел на пол, закрыл голову вот так руками, сижу. А они кругом скачут, пинают меня ногами, а какой-то мальчишка молоденький — расстегнулся и давай мне на голову мочиться. Долго мочился. А голова у меня — видишь, полуплешивая, седая. Ну, вот ты скажи,— как я после этого жить могу?

— Да ведь надо, товарищ командующий. На вас надеются. Видите, какая обстановка.

— Вижу обстановку.

Ну, настает ночь. Он говорит: — Что ж, давай вместе ложиться на эту постель.

Мне страшно его оставить; легли мы вместе, лежим, молчим.

— Не спишь?

— Не сплю, товарищ командующий.

И вот стали мы тут вспоминать, как у кого «там» было. Говорим, вспоминаем,— не остановиться. Только когда он голос начинает повышать, я спохватываюсь, говорю:

— Тише... тише, товарищ командующий! Ведь, наверно, за нами обоими следят. Разрешите, проверю обстановку.

Публикация М. Ф. БЕРГГОЛЬЦ

*** Заметка Ольги (на полях какого-то журнала): «Написать II часть «Дневных» с обезоруживающей открытостью...» И, рассказывая мне новый план книги, она говорила: «Надо ничего, ничего не бояться! ВСЕ, все писать...» Книга должна была быть письмом Коле...** ***(Прим. составителя.)***

ОГОНЁК

ЛИК ВОЙНЫ

А. Мыльников «ПРОЩАНИЕ»





М. Кугач «ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

Арсений ТАРКОВСКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще в скорлупе мы висим на хвощах,
Мы — ранняя проба природы,
У нас еще кровь не красна, и в хрящах
Шумят силурийские воды,

Еще мы в пещере костра не зажгли
И мамонтов не рисовали,
Ни белого неба, ни черной земли
Богами еще не назвали,

А мы уже в горле у мира стоим
И бомбою мстим водородной
Еще не рожденным потомкам своим
За собственный грех первородный.

Ну что ж, златоверхие башни смахнем,
Развеем число Галилея
И Моцарта флейту продуем огнем,
От первого тлена хмелея.

Нам снится немая, как камень, земля
И небо, нагое без птицы,
И море без рыбы и без корабля,
Сухие, пустые глазницы.

Сальвадор Дали

В. Сафронов «КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!»



Семен ГУДЗЕНКО

ПЕРЕД АТАКОЙ

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв.
И умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв.
И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

1942

Евгений ВИНОКУРОВ

НЕЗАБУДКИ

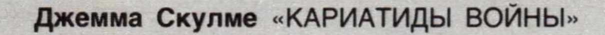
**В шинельке драной,
Без обуток
Я помню в поле мертвеца.
Толпа кровавых незабудок
Стояла около лица.**

**Мертвец лежал недвижно,
Глядя,
Как медлил коршун вдалеке.
И было выколото
«Надя»
На обескровленной руке...**

1957



Д. Обозненко «ВОЗМЕЗДИЕ»



Джемма Скулме «КАРИАТИДЫ ВОЙНЫ»

Борис СЛУЦКИЙ

ГОЛОС ДРУГА

*Памяти поэта
Михаила Кульчицкого*

**Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.**

**Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.**

**За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!**



Рене Маргритт

Булат ОКУДЖАВА

ВДОВА

Он не писал с передовой,
она — совсем подросток —
звалась соломенной вдовой,
сперва — соломенной вдовой,
потом — вдовою просто.

Под скрип сапог, под стук колес
война ее водила,
и было как-то не до слез,
не до раздумий было.

Лежит в шкатулке медальон
убитого солдата.
Давно в гражданке батальон,
где он служил когда-то.

Но так устроено уже:
не сохнет лист весенний,
не верят вдовы в смерть мужей
и ждут их возвращенья.

Не то чтоб в даль дорог глядят
с надеждою на чудо,
что, мол, вернется он назад,
что вот придет домой солдат
неведомо откуда.

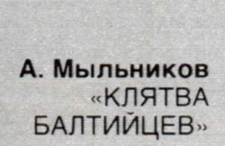
А просто, бед приняв сполна,
их взгляду нет границы,
и в нем такая глубина,
что голова кружится.

Как будто им глаза даны,
чтобы глазами теми
всем не вернувшимся с войны
глядеть на мир весенний.

1946

Кэте Кольвиц
Из серии
«МАТЬ
ЗАЩИЩАЕТ
СВОИХ
ДЕТЕЙ»





А. Мыльников
«КЛЯТВА
БАЛТИЙЦЕВ»



Кукрыниксы
«БЕГСТВО ФАШИСТОВ
ИЗ НОВГОРОДА»

В. Псарев «ПАМЯТЬ»

В. КАРДИН

ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ,

ИЛИ ПОЧЕМУ Я РАВНОДУШЕН К АНТИУТОПИЯМ

В начале марта нынешнего года, накануне Женского дня, я стоял в очереди ветеранов войны, получавших праздничный заказ. В зальцу, отведенную для этой своеобразной торговой операции, набилось много народу. Но кассирша и продавец работали споро. Каждый из нас провел в магазине не более полутора часов. В очереди царило миролюбие. Сообща гадали, какой заказ ждет нас к 9 Мая, соединят его с первомайским или нет, будет венгерская курица или ножки от американских, дадут бразильский кофе или советский, югославские конфеты или польское печенье...

Грузная женщина в платке призналась, что она не большая охотница до кофе, да и дороговато — шесть целковых, и если кто-нибудь из товарищей хочет, пожалуйста, пусть возьмет ее банку.

Мужчина в тяжелых очках и пышной ушанке рассказал о своем взводном командире, который живет в далеком сибирском городке,— там с ветеранскими заказами дело обстоит худо.

— А нас, в Москве, все-таки не забывают.

Я слушал грузную женщину — в сорок пятом ей, санинструктору, было двадцать лет, очкастого — в далеком прошлом фронтового связиста, и думал о скудости — нет, не нашей жизни, но человеческого воображения. Ну, кто из нас тем солнечным победным маем мог представить себе, что едва не полвека спустя мы будем стоять в такой очереди и буднично вести такие разговоры! Да самая ли это великая несообразность, когда жизнь будет прикладывать нас физиономией о подоконник, заставляя усомниться: неужели мы дожили до такого? И чем чаще прикладывает, тем меньше удивляемся.

Июльским вечером 1943 года в медсанбатскую палатку для раненых рядом со мной положили лейтенанта с перебитыми ногами и лицом, превращенным в месиво. Истекая кровью, лейтенант пролежал во ржи, вероятно, с неделю, его обнаружили собаки-санитары. Всю ночь палатку оглашали тяжкие стоны. А утром его, уже бездыханного, вынесли хоронить.

Могла ли ему в предсмертном бреду привидеться колонна чернорубашечников, торжественно шествующая по московской улице, отмечая день рождения фюрера? Свастика на стенах домов? Свастика, проступающая сквозь строки какой-нибудь газетной статейки? Воображал ли, что столичный журнал, радея за дальнейшее повышение культурного уровня читателей, посоветует выпустить в свет «Майн Кампф»?

Что такое фантазия и гнев Замятина, Хаксли, Оруэлла, невероятные сцены антиутопий рядом с нашей разобычнейшей действительностью? Нет, не шибко задевают меня эти фантастические сцены.

Осенью 41-го года в лесу под Калининым я впервые увидел нацистскую листовку. Ее нашел на раннем снегу Сережа Козлов и, смеясь, принялся читать вслух. Невеселые это были дни, но мы смеялись. Сочинители листовки советовали: штык в землю, объявить Москву открытым городом; вермахт очистит русскую столицу от инородцев и наведет образцовый порядок.

«За кого они нас держат?!» — изумился Сережа, не подозревая, что жить ему осталось несколько дней, а через четыре с чем-то десятилетия словечко «инородец» войдет в наш повседневный обиход, обретет силу аргумента в бесконечных спорах, ведущих не к истине, а к кровопролитию. Споры бесконечны, ибо нет народа, который нельзя было бы отнести к инородцам.

Среди моих добрых фронтовых друзей было два бакинца — Мартиросов и Багиров. После демобилизации оба вернулись в родной город и прожили в нем до последнего своего дня.

Недавно я поймал себя на дикой мысли: хорошо, что Мартиросов и Багиров не дожили до зимы девяностого года. Но каково теперь их вдовам? Оба женились на русских. Неужели их детям, полукровкам, на роду написано быть вечными инородцами?

Во всемирно известных антиутопиях источник человеческой трагедии — тоталитаризм. Сейчас в этом никто как будто не сомневается. А всего несколько лет назад журналист-международник со страниц солидной советской газеты объяснял, что в «1984-м» Джордж Оруэлл гениально предсказал будущее капитализма, гнилой буржуазной демократии.

Оруэлл предсказал многие последствия тоталитарной системы, знал, что ложь можно считать правдой и наоборот, но не предвидел шутки, какую с ним сыграют. Он писал о фанатичной вере, порабощающей человека. Но не менее опасным оказалось безверие, наделяющее умением приспособиться к любым обстоятельствам, найти оправдание любой мерзости, всякому преступлению.

Есть все же что-то наивное в лозунгах, которые украшают фасады домов в оруэлловской Океании: «Война — это мир», «Свобода — это рабство». Десятилетиями мы жили среди девизов настолько нелепых, что они вообще переставали восприниматься. На вокзале одного подмосковного города неоновые буквы образовали привычное словосочетание. Но три буквы последнего слова когда-то, видимо, погасли, и с тех пор никто уже не обращал внимания на некоторую странность светящегося утверждения: «Народ и партия ны».

В антиутопиях понятия обычно лишаются исконного смысла или сочетаются таким образом, что конечный их смысл противоречит первоначальному. В «Скотном дворе» Оруэлла царит принцип: «Все животные равны между собой, но некоторые более равны, чем остальные». Для нас, принимающих абсурд как норму, совсем необязательна столь откровенная формулировка. Вполне достаточно первой части — утверждения о всеобщем равенстве. Остальное — предполагается, подразумевается само собой. Цинизм сделал нас на удивление сообразительными.

Десятилетиями государство сулит «проявить заботу о наших славных фронтовиках», «улучшить», «обеспечить», «повысить» и т. д. Под гул однообразных заверений ветераны покидают этот мир. У одних позади нищета, у других — роскошь. Но это — крайние точки. Большинству досталась обыденно трудная жизнь, отягощенная непониманием новых поколений.

Чем шумнее официальные обещания, приуроченные к очередному Дню Победы, тем больше косых взглядов бросают люди на ветеранов, сильнее общее раздражение жалкими льготами, какие дарованы фронтовикам много лет спустя после войны.

Попытки «внедрить» любовь к «нашим славным...» и т. д. способны вызвать противоположное чувство. Накануне Дня Победы тысячи, сотни тысяч школьников под диктовку учителей пишут праздничные поздравления ветеранам. Не хватает бумаги на ученические тетради, не хватает полиграфических мощностей, почта не справляется с обычной нагрузкой. А тут, извольте радоваться, потоки открыток. Безобразие, бессмыслица да и только.

Нет, не только. Представьте себе одинокого, заброшенного человека, привыкшего к пустому почтовому ящику. И вдруг в этом ящике красочные открытки к празднику, добрые слова, выведенные детской рукой.

Насчет слезы ребенка сегодня наслышаны все, даже не читавшие Достоевского. Не наступил ли срок прочитать телевизионную нравственную проповедь о слезе старика?..

Ни в одной антиутопии не встретишь ничего похожего на историю, хорошо известную моим однополчанам.

Израненный, увешанный орденами боевой офицер-разведчик, приехав в отпуск в свое селение на берегу Черного моря, не находит ни жены, ни родни. Все почему-то отбыли в Казахстан. И он выписывает у коменданта литер, в офицерском вагоне отправляется, не подозревая о том, в зону для сосланных греков. Там и остается. При орденах, при мундире. Но без права выезда, без права возвращаться в часть...

Не сразу мы, вернувшиеся с фронта, ощутили себя поколением, почувствовали связь между собой, необходимость в ней. Миновали первые послевоенные годы, и мы начали искать друг друга, наводить справки, списываться, искать встречи. Вероятно, что-то в мирных днях заставляло нас держаться «до кучи». Чем-то эти дни не отвечали нашим фронтовым мечтам о будущем. Сейчас более или менее ясно — чем.

Мы не ждали молочных рек и кисельных берегов. Своими глазами видели спаленные села, руины городов. Но у нас все же появились свои, пусть и расплывчатые, представления о справедливости, о собственном назначении, о человеческом достоинстве. Они удручающе не совпадали с тем, что нас ждало едва не на каждом шагу.

Об этом можно писать и писать. Судьбы складывались по-разному. Кому-то достался счастливый жребий. Кто-то вернулся на пепелище. Кого-то ждали. Кто-то оказался нежеланным. Один пил от отчаяния, другой обмывал удачи, третий прикладывался по окопной привычке. Число вариантов беспредельно, и отнюдь не все напасти списываются на общественные аномалии. Но при этом многообразии, при несходстве участей и воззрений свой брат, прошедший теми же фронтовыми дорогами, лежавший в тех же медсанбатах и госпиталях, что и ты, должен был тебя понять, тебе посочувствовать.

Я не склонен приукрашивать ветеранское сообщество. Ему свойственны пороки любых других наших сообществ и коллективов. Оно не чуждо свар, склок, честолюбивого состязательства. Все как у людей. Но убедился: в трудную минуту немедля поспешат на помощь. Через тысячи километров прилетят к больному однополчанину, из-под земли раздобудут дефицитное лекарство. Найдут слово поддержки... Не так-то уж и мало.

Средний ветеранский возраст сегодня возле отметки «семьдесят». При таком жизненном стаже что значат два-три года службы в одной, давным-давно расформированной дивизии?

Значат нечто донельзя важное, хотя и труднообъяснимое. Не зря замечено: людей объединяет не кровь, текущая в жилах, а кровь, текущая из жил. Но неужели все объясняется ею? Разве время не утишает боль утрат, не ослабляет память о потерях?

Фронтовые годы — годы духовного взлета, братского единения, общих страданий и общей ответственности. Тогда каждый почувствовал: я нужен стране, народу; без меня не обойтись.

О случившемся после войны с армейской четкостью сказано у Бориса Слуцкого: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны».

Далеко не каждый понял. Но почувствовали многие.

Обратили ли вы внимание: когда по телевидению показывают возвращение солдат с Великой Отечественной, на экране два-три давно примелькавшихся кинокадра? Пленки не хватило? Интерес угас?

Ошеломляющий контраст между гулом боев и мирной тишиной не нес благостного отдохновения. Да Бог с ним, отдохновением. Нам еще доставало сил, мы обязаны были быть необходимыми.

Когда этого не случилось, началась ностальгия по военным временам. Чем труднее, нелепее складывалась жизнь, тем отраднее представлялись эти страшные времена.

Слов нет, такой парадокс менее эффектен, чем оруэлловский «Война — это мир». Но менее ли драматичен?

Хорошо, что об «афганцах» столько говорят. (Делают гораздо меньше.) Но как же мало думали и делали для вернувшихся с Отечественной войны! Бывших пленных из гитлеровских лагерей перегоняли в сталинские. Инвалиды выстаивали в долгих очередях за протезами, наподобие деревяшек, на каких ковыляли потерявшие ногу под Бородино. Самых изувеченных собирали в ко-

лониях, размещенных в глухих дальних углах. Дабы не портили картину общего процветания.

От житейской неустроенности, от чиновного безразличия к тем, кто донашивал кителя и гимнастерки, фронтовые годы, когда обмундирование выдавали «по зимнему и летнему плану», рисовались все более привлекательными.

Вспоминая фронт, не перестаешь удивляться, насколько умелы и заботливы были наши командиры. Возможно, не все, возможно, по молодости мы их иной раз идеализировали. И все-таки наше давнее мнение оправдано.

Война заставила нарушить принцип негативного отбора кадров, господствовавший не только в армии и не только перед войной. Анкетным подходом пришлось пожертвовать. Бывший зек Рокоссовский удостоился маршальской звезды. Одного из предвоенных маршалов, прославившегося в борьбе с последствиями «шпионско-вредительской» деятельности Тухачевского разжаловали в генерал-майоры. «Первый красный офицер» успешно провел операцию по аресту героя Советского Союза Д. Павлова, но с фронтовыми операциями не справлялся.

Это наверху, на высотах, едва просматриваемых из солдатского блиндажа. Однако и внизу происходило нечто подобное. Плохие командиры обычно не удерживались. Демагогия упала в цене. Самодурствовать было рискованно. Бестолковость уважением не пользовалась, наград и внеочередных званий не сулила. После первого же боя из нашей дивизии откомандировали нескольких офицеров с довольно солидными званиями, с неплохим послужным списком мирного времени. Место откомандированных, место выбывших в бою обычно занимали смелые, смекалистые парни. Многие из них начинали войну сержантами, солдатами. Иногда им удавалось закончить краткосрочные курсы, а, бывало, получали первый «кубик», первую лейтенантскую звездочку без всяких курсов.

Не многие из них дожили до Победы, и не все дожившие нашли себе место в послевоенной армии. Принцип негативного отбора брал реванш. Приходилось заполнять аршинные анкеты. Поползли вверх пролазы, подхалимы, трепачи. Чем дальше, тем процесс этот шел неукоснительнее, увереннее и все реже давал сбои. Тому содействовала секретность, окутывавшая кадровые решения и перемещения в армии; карьерная прыть стимулировалась баснословными привилегиями для генералитета.

— Послушай,— спросил недавно мой однополчанин, начавший войну младшим лейтенантом и лет двадцать назад полковником уволившийся в отставку.— Послушай, чего они кичатся своей компетентностью? Словно не при них Руст приземлился на Красной площади. Словно не они отличились полководческим искусством в Афганистане. Словно не имеют отношения к «дедовщине» и прочим внеуставным непотребствам... Жуков не хвалился своей компетентностью. А эти, компетентные, опозорили нашу армию в Тбилиси и в Баку.

Признаюсь, я убрал некоторые выражения из пламенной речи однополчанина. Думаю, он кое-что запамятовал. Иные сегодняшние язвы начались с армейских болячек еще военного времени. Не все тогда было так ладно, как видится нам сейчас. Почему-то писатели-баталисты, историки начисто забыли, например, о дополнительных пайках, полагавшихся на фронте лишь офицерам, о посылках, разрешенных после перехода армией государственной границы,— солдату разрешалось отправить одну посылку, офицеру — две. Чем выше начальство, тем меньше ограничений и больше возможностей обогащаться. «Трофейные» рояли грузили в кузова «студебеккеров», «трофейные» биде — в самолеты.

Призыв «Грабь награбленное!» как будто не значится среди антиутопических. Слишком он элементарен, механизм его воздействия удручающе прост. На протяжении всей послеоктябрьской истории государство не отказывалось от него, приобщая к экспроприации каждое входившее в жизнь поколение. Расцвечивался лозунг по-разному: «Долой помещиков и капиталистов!», «Покончим с нэпманами!», «Ликвидируем кулачество как класс!» Клич «Смерть врагам народа!» дополнялся строкой в приговоре: «С конфискацией всего имущества».

Когда пришел черед приобщать фронтовиков к экспроприации, были сделаны уточнения, соответствующие моменту. «Грабить награбленное» надлежало соответственно с чином и должностью экспроприатора. Идея кастовости армии дозрела в голове Сталина под воздействием фюрера. Он же подсказал форму ее воплощения — посылки с фронта. Добро шло не в казну, но непосредственным участникам. «Пахан» хотел, чтобы все были «в замазке»? Желал понадежнее заручиться поддержкой фронтовиков? Заодно получить компрометирующий материальчик на каждого генерала, охваченного трофейной лихорадкой?..

Было бы недостойным предполагать, будто фанатичный сталинизм иных моих сверстников порожден «посылочным» великодушием Верховного. Было бы непростительно забывать: пресловутая «сталинская забота о человеке» строилась нередко лишь на подачках то тем, то другим слоям за счет всевозможных врагов. Во враги облыжно зачислялись отдельные личности, целые классы и народы. Их достояние переходило в чужие руки. Но редко кому оно приносило счастье и неизменно сеяло зерна грядущих конфликтов. Из всех видов военного дела Сталин лучше всего владел саперным — мастерски закладывал мины замедленного действия.

На фронте девиз «Грабь награбленное!», впрочем, срабатывал не совсем безотказно. В стрелковой роте, в орудийном расчете обычно было не до посылок. Не всех офицеров соблазняли «трофеи», которые следовало брать в квартирах, особняках, крестьянских домах Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Германии. Командир нашей дивизии генерал А. Я. Киселев открыто презирал «барахольщиков». Помню разговор двух немолодых — по тогдашним нашим представлениям — политотдельцев, их тревогу: не приведет к добру кутерьма с посылками, «трофейный» ажиотаж...

Преувеличивали они опасность или нет? Но тяга к «сладкой жизни» — за счет ли «трофеев», за счет ли государства — усилилась среди тех, кто мог воспользоваться своим положением, удовлетворяя неизменно растущую потребность в такой жизни. Вряд ли они в состоянии — не на словах, конечно,— проникнуться сегодня нуждами офицеров, ютящихся в кочевских гостиницах и общежитиях, снимающих комнаты и углы. Как строго засекреченные объекты государственной важности, охраняют они свои сказочные дачи с бассейнами, саунами, теннисными кортами. Их виллы и охотничьи угодья влетают в копеечку ничего не ведающим налогоплательщикам. В том числе и ветеранам, поныне ждущим сносного жилья.

Даже когда тайное стало частично явным, хозяева «секретных объектов» не намерены поступиться «завоеванным». Они любят рассуждать об офицерской чести, но не испытывают укоров совести. Любят рассуждать об офицерских традициях, но забывают незыблемое правило: причастен, пусть даже не прямо, к злоупотреблениям, виновен в серьезных упущениях — уходи в отставку. Не бросают ли они тень на ту часть нашего генералитета, которой чужды барство и милитаристская демагогия? Не стимулируют ли они — вольно или невольно — молодых толковых офицеров к увольнению в запас?

Пребывание в «зоне комфорта» позволяет свысока поглядывать по сторонам, наделяет самоуверенностью и апломбом, доводящими иной раз до курьезов, до потери чувства реальности.

С трибуны Съезда народных депутатов командующий одним из округов предложил ввести для Президента курс трехмесячной армейской выучки при Академии Генштаба. Неужели всем сложностям современной стратегии, оперативного искусства и тактики можно овладеть за срок школьных каникул? Тогда на кой ляд нужны наши академии, училища? Может быть, генерал имел в виду строевую подготовку, великую мудрость, какую открыл нам когда-то сержант, уверявший, что главное — научиться тянуть ногу и усвоить команду для рук: «Вперед до пряжки, назад до отказа!»

Народные депутаты не вняли совету своего коллеги с генеральскими погонами. Даже как-то непочтительно посмеялись.

Куда отраднее слышать зрелые, смелые речи офицеров — народных депутатов, понимающих, чем отличается строительство Вооруженных Сил от строительства собственных вилл, чем отличаются подлинные интересы страны и армии от кастовых интересов иных шибко компетентных военачальников. Полемика о будущем армии выплеснулась наружу. Большинство ветеранов, особенно тех, чьи сыновья и внуки служат в полках и дивизиях, насколько мне дано судить, на стороне приверженцев армейских реформ, выступающих куда более ответственно, смело, доказательно, нежели их оппоненты.

Люди фронтового поколения отдали свою молодость армии, доказали преданность, неизменную любовь к ней. Однако нынешняя армия не совсем та, в какой они некогда служили. Дело не в ракетах, электронике, технических и организационных новациях. На ту, на их армию, возлагалась великая, благородная миссия. Она с ней справилась, кровью оплатив свою верность Отчизне. (Несправедливо упрекать нашу армию за то, что в обозах везли какого-нибудь Ракоши или, пользуясь ее победами, в освобожденных странах власть передавали марионеткам. Долог, кровав был наш путь в майскую Прагу сорок пятого. Мы его проделывали не ради того, чтобы советские танки спустя двадцать три года ворвались в мирную столицу Чехословакии.)

Нас учили не только «тянуть ногу». Еще проходя «курс одиночного бойца», мы усваивали: моральный уровень войск зависит от их предназначения, от задач, порученных им. Этот тезис подтвержден всей последующей историей. Хотя подчас доказывался от противного. Как бы ни пытались приукрасить афганскую войну, нравственный урон от нее еще долго будет давать знать о себе.

Однополчане, с какими я встречался в последние годы, в этом единодушны.

Смешно надеяться, будто к голосу ветеранов-пенсионеров сейчас прислушаются. Однако виной тому не только отрицание всяких авторитетов, неумение вообще слушать кого бы то ни было.

Люди старших поколений, перенесшие столько невзгод, острее ощущают унизительность своего житейского и общественного положения. Но один из горьких парадоксов в том, что сами они немало сделали, провоцируя пренебрежение к своему слову, создавая о себе мнение как о консерваторах, способных жить вчерашним, порядком приукрашенным днем.

Кому известно, что в самую трудную пору «Новый мир» А. Твардовского получал множество писем в поддержку от участников войны? По сей день у нас не воссоздана эпопея фронтового генерала-правдолюбца Петра Григоренко. Никому не придет в голову считать седовласых людей с орденскими планками на заседаниях и митингах «Мемориала». Зато ленинградская преподавательница химии не устает козырять письмами ветеранов. Зато всем памятны ветеранские послания, клеймившие «литературного власовца» А. Солженицына, «изменника» А. Сахарова, всевозможных «ревизионистов», «отщепенцев» и т. п.

На склоне лет особенно труден всякий выбор, а униженность в сочетании с самолюбием не слишком помогает избавиться от самообмана. Трудно поступиться принципами, даже когда годами накопленный опыт убеждает; в них столько же правды, сколько в заповедях: война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Даже когда видишь, кто и как пользуется ими.

Наша верноподданная пропаганда отвела ветеранам вполне определенную роль хранителей «устоев», блюстителей «идейной чистоты». Нашла применение так и нереализованной активности вчерашних фронтовиков. А многие эту роль с готовностью приняли, вошли в нее. Дурную шутку сыграла с ними постоянная склонность больше смотреть назад, нежели думать о будущем. Ностальгия по окопной молодости, по завидной фронтовой ясности вызвала неприязнь к противоречивым новшествам, шараханиям из стороны в сторону, к попыткам заменить культ обожествляемой личности культом другой личности, вызывающей откровенное презрение. Любому посягательству на догмы противопоставлялась собственная слепая и нерушимая вера в единожды обретенного кумира. Эта вера, по моим ограниченным, не претендующим на абсолютность наблюдениям, всего сильнее у тех, кто преуспел после войны и кому не удалось получить образование. Попытки переубедить их напрасны. Зная это, на дружеских встречах мы избегаем зряшных дискуссий.

В свое время софроновский «Огонек» напечатал письмо, объявлявшее повесть В. Быкова «Круглянский мост» клеветнической. На правах старого знакомого я спросил одного из подписавших это письмо, как он мог поставить там свое имя?

— Так надо,— твердо ответил он.

— Ты читал повесть?

— Это неважно. Так надо.

Кому — надо? Ради чего — надо? Моему собеседнику были известны ситуации не менее ужасные, чем те, которые описал Василь Быков. Но что с того, если соображения высшей политической целесообразности требуют пренебречь правдой? Он пожертвует ею, испытывая горделивое чувство собственной причастности к большой политике. Да, именно он причастен, а не сочиняющие всякие «Круглянские мосты», ратующие за какие-то права человека, открывающие архипелаг ГУЛАГ...

Большая политика обернулась мелкой корыстной ложью. Но до чего трудно признаться себе в этом! Лучше уж привычно цепляться за «так надо», не желая замечать, что эта роль стала не только постыдной, но и жалкой, комичной. Устои безвозвратно рухнули под натиском жизни. Остается тешить себя красивыми вымыслами, отдавая предпочтение дурной литературе, ибо авторы-циники льстят читателям, превращая в сусальный миф жестокие фронтовые годы нашей жизни. Годы, действительно, оказавшиеся лучшими.

В том-то и беда, не предугаданная Оруэллом, Замятиным, Хаксли. Жители оруэлловской Океании или Прекрасного нового мира, воссозданного Хаксли, сами создают свои утопии и до последнего держатся за них.

Бесконечно печальны, несказанно обидны не только совпадения нашей жизни со знаменитыми антиутопиями, но и ее горестные «преимущества» перед ними. Мои сверстники предпочитают о том не думать, не отравлять мрачными мыслями и без того тяжкие свои последние годы. Тем более что это трагедия не одного лишь фронтового поколения...

Так чем порадуют нас в праздничном заказе ко Дню Победы?



НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(из'ятые при обыске)

Андрея ПЛАТОНОВА

1. „ТРАГЕДИЯ 14-ти КРАСНЫХ ИЗБУШЕК"
2. „ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ"
3. „ТЕХНИЧЕСКИЙ РОМАН"

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Ведет рубрику
Виталий ШЕНТАЛИНСКИЙ.

Сын Андрея Платонова был арестован в возрасте 16 лет, приговорен к 10 годам лишения свободы как «руководитель антисоветской молодежной террористической и шпионско-вредительской организации». Из допроса при доследовании 29 сентября 1940 года: «Я дал ложные, фантастические показания... Подписал я эти показания под угрозой следователя, который мне заявил, что если я не подпишу показания, то будут арестованы мои родители».

Был ли репрессирован Андрей Платонов? Известно, что арестам этот человек не подвергался. Но писатель Андрей Платонов был репрессирован. Сегодня мы можем с уверенностью это сказать. И не только потому, что он изолировался властями от своего читателя, годами не печатался и жил в нищете. Более того, как оказалось, арестованы были его рукописи и протомились на Лубянке до нынешних дней.

Такое открытие сделала рабочая группа, состоящая из ответственного работника КГБ А. А. Краюшкина, сотрудника Прокуратуры СССР А. В. Валуйского и ведущего настоящей рубрики, уполномоченного для этой работы Всесоюзной комиссией СП СССР по литературному наследию репрессированных писателей. Задумана группа была как «антитройка», в пику тем «тройкам», которые в печальное время творили расправу над невинными людьми; теперь, стало быть, для противоположной цели — восстановления справедливости, обретения исторической правды. Только один из углов «треугольника» вместо представителя партии занял представитель литературной общественности, поскольку речь — о судьбе Слова, о писательских судьбах. И главное отличие, конечно,— время на дворе другое.

Как работает «антитройка»? Мы изучаем следственные дела писателей, одно за другим, передаем документы и уцелевшие рукописи в печать и в открытое хранение, занимаемся реабилитацией. Пробуем, пока только пробуем, действовать сообща (дают о себе знать воспитанные десятилетиями оглядка и недоверие, чувствуются еще железные перегородки тоталитарной власти; дело невиданное, постепенное, на ощупь, с откатами, похожее на шаги по минному полю, сам материал, отнюдь не академически отстоявшийся — гремучий, взрывоопасный). Но возможность такой работы уже факт позитивный, обнадеживающий, вестник освобождения, которое переживает страна, возвращения не просто исторического знания — сознания.

И вот неизвестный замысел Андрея Платонова — «Технический роман» — такая папка легла на этот раз перед нами. Сверху — гриф: «Объединенное государственное политическое управление. Секретно-политический отдел». «Изъято при обыске» — значится в скобках. При каком обыске, у кого — пока загадка. Место и дата: «Москва, 1933 г. ...»

Это критический момент в жизни Платонова. После публикации повести «Впрок» в «Красной Нови» (1931) на писателя обрушивается гнев самого «вождя всех времен и народов». Платонов бросил вызов власти. Как это у него в повести: «И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика...»?

По воспоминаниям жены писателя, Сталин, прочитав повесть, написал на ней: «Сволочь!» По другим сведениям, он в беседе с Фадеевым сказал: «Вмазать так, чтоб было впрок...»

После такой резолюции самого высокого ценителя нашей литературы судьба Платонова повисает на волоске. Его перестают печатать, подвергают общественной травле. Остается только собрать узелок. «В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города...» Это начало повести «Впрок» звучало теперь символически для автора и грозило приобрести совсем не символический смысл. Рукописи Платонова вместо редакций перекочевывают на Лубянку, их внимательно изучают литературоведы в мундирах. Ждут только команды...

Найденная в архиве папка открывается документом, составленным оперуполномоченным 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Шиваровым. Это имя нам уже известно: через год, в 1934-м, он будет вести дело Николая Клюева (см. «Огонек» № 43, 1989). Шиваров Н. Х. (надо же, Христофорович — как Бенкендорф!), видно, считался у себя в ведомстве большим специалистом по отечественной словесности, он по-своему оценивает нашу классику.

«СПРАВКА
ОБ АВТОРЕ А. ПЛАТОНОВЕ

А. Платонов — сын рабочего и сам бывший рабочий, получил незаконченное высшее техническое образование и работал в системе ВСНХ как инженер-консультант по электростроению. За последнее время работает в тресте точной механики, где как изобретатель электрических весов премирован. На получаемое жалованье с этой своей работы Платонов и живет. Литературные доходы были относительно значительны в прошлом, но за последние два-три года он фактически не печатается и никаких гонораров не получает. Живет бедно.

Среду профессиональных литераторов избегает. Непрочные и не очень дружеские отношения поддерживает с небольшим кругом писателей. Тем не менее среди писателей популярен и очень высоко оценивается как мастер. Леонид Леонов и Б. Пильняк охотно ставят его наравне с собой, а Вс. Иванов даже объявляет его лучшим современным мастером прозы.

Из опубликованных произведений Платонова наиболее известны: «Рождение мастера» — первая повесть писателя; «Епифанские шлюзы» — основная идея в аналогии между Петровской эпохой и эпохой соцстроительства в СССР; «Впрок» — сатира на колхозное строительство.

За опубликование повести «Впрок» редакция журнала «Красная Новь» получила выговор, и фактически только после этого Платонова начали прорабатывать и перестали печатать. Платонов тогда говорил: «Мне все равно, что другие будут говорить. Я писал эту повесть для одного человека (для тов. Сталина), а этот человек повесть читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует».

Написанные после повести «Впрок» произведения Платонова говорят об углублении антисоветских настроений Платонова. Все они характеризуются сатирическим, контрреволюционным по существу подходом к основным проблемам социалистического строительства.

Платонов пытался опубликовать полностью или отрывками некоторые из этих произведений, убеждая, что опубликование их не только допустимо, но и необходимо в интересах партии. «...Нет ведь ни одного писателя, имеющего такой подход в тайники душ и вещей, как я. Добрая половина моего творчества помогает партии видеть всю плесень некоторых вещей больше, чем РКИ».

Платонов читает свои произведения только своим ближайшим друзьям: А. Новикову и И. Сацу, и не пускает свои рукописи по рукам».

Да, Платонов вступил в прямой диалог со Сталиным (отсюда его фраза, доложенная, видимо, стукачами: «Я писал эту повесть для одного человека...»).

Платонов в это время еще молод, ему только 33 года — знаменательный воз-

раст! И он переживает расцвет своего дара, взрыв творческой мощи. Лучшие книги написаны как раз в эти годы: «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», пьесы, рассказы... Главное слово уже сказано, но еще не услышано, не известно обществу.

К этим главным его произведениям мы можем прибавить теперь и «Технический роман». Перед нами второй или третий экземпляр машинописи, сделанный довольно небрежно, с ошибками. Подзаголовок гласит: «Выписки из рукописи неопубликованного романа». Кто делал выписки, где весь роман, был ли он дописан — остается неясным. Причем это лишь первая часть «Технического романа» — «Хлеб и чтение». Готовые, отделанные части текста перемежаются вставками — очень краткими изложениями недостающих частей. Будто перед тобой строение с неубранными лесами, но и масштаб, и архитектура, и качество налицо.

«Я человек технический»,— говаривал, бывало, Платонов. Вот и роман — «технический».

Зерно, из которого разрастается «Технический роман»,— ранний рассказ «Родина электричества» (1926). Около трех страниц из пятидесяти почти совпадают — это вообще характерно для Платонова: вариантность темы, отпочкование сюжетных веток, клеточное деление образов, неопределенность исхода. По строению его проза — живой организм, очень «биологична».

Юность героя — Революция. Мечта героя — Электричество. А вокруг — засуха, голод, беда. Революция плюс Электричество — Всеобщее Счастье. (Пока все совпадает с руководящей идеей, генеральной линией: «Советская власть плюс электрификация всей страны...») Из такой социальной арифметики исходит герой рассказа — дитя своего времени, из такой арифметики исходил тогда, когда происходит действие в рассказе — 1921 год,— и юный Платонов. Написан рассказ от первого лица и насквозь автобиографичен: Платонов в то время усиленно занимался электротехникой, даже написал книжку — «Электрификация». В своей «Автобиографии» он сообщает: «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой... Я работал... по электрификации сельского хозяйства (построены 3 электростанции)...» Тяга к революции и электричеству у Платонова — непосредственно от сердца: помочь миру, спасти гибнущих. Революция — молния. Пусть эта молния в руках человека не разрушает, а созидает!

Что же произошло с идеей рассказа спустя семь лет, когда он превращался в роман? Эта метаморфоза — вылет бабочки из кокона, выход художника из туманной, прекраснодушной мечты на трезвый трагический свет истины.

Главный герой «Технического романа» Семен Душин, в рассказе еще выступавший как «Я», теперь становится другим человеком, в чем-то для автора неприемлемым, враждебным. Это взгляд на себя — прежнего, фанатичного, даже безжалостного в стремлении к идеалу. Мечта поверяется жизнью и все больше расходится с правдой. Авторское «Я» уже разделено между двумя главными героями — Душиным и Щегловым, и никто не владеет истиной, все ее только ищут. У каждого — своя мечта и своя правда, как совместить их? Была ведь еще одна правда, впрямую в романе не названная, которая и до сих пор нами не усвоена, не переварена до конца. Г. М. Кржижановскому: «Мобилизовать *всех* без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-математический факультет и пр. Обязанность: в неделю не менее 2(4?) лекций, обучить *не менее* (10—50?) человек электричеству. Исполнишь — премия. Не исполнишь — тюрьма» (декабрь, 1920)*.

Иллюзии рухнули. Взгляд изменился. Стало ясно, что понимания и мирного исхода в поединке с властью для Платонова быть не может. Так оно и случилось. Правда, сам Платонов не был арестован. Но есть и другие способы кары — изощреннейшие... Для писателя это были арест в 1938-м сына Платона, заключение юноши в лагерь, после чего — туберкулез и ранняя смерть. От этой же болезни умрет и сам писатель.

До конца жизни у Платонова останется страх перед потерей трудов своих. Несколько рукописей унесут при аресте сына. В эвакуации, на вокзале в Уфе, Платонов, как рассказывают, на время сна привязывал к руке папку с рукописью книги «Путешествие из Ленинграда в Москву». И что же? Рукопись все-таки была кем-то украдена, осталась пустая папка. Книга утрачена навсегда.

Есть писатели, соответствующие своему времени, совпадающие по уровню с современниками и потому, счастливчики, снискавшие популярность у них. И есть — опережающие время, до которых надо еще тянуться. Платонов труден, потому что требует от читателя ответной работы, роста души. Как он сам говорит в одной из статей, «великий художник требует, чтобы его завоевывали или по крайней мере осваивали». Когда читаешь Платонова, хочется запоминать наизусть целыми страницами его ключевые мысли, афоризмы, метафоры — в них не книжная философия, а природная мудрость. Есть ли другой такой первородный и цельный мастер в русской прозе советского времени? Он действительно воспринимается более как явление природы, чем искусства, культуры. Что называется — «натуральный человек»! Платоновская проза столь густа, что бывает довольно для одного раза нескольких страниц — и все, сыт, больше не могу! Все равно как есть мед — много ли осилишь?

Главное художественное открытие Платонова — новый герой, которого до него не было в литературе. Для себя определил этого героя так: Народ-Сирота. Сирота, лишенный кого? Бога? Матери-Земли? Или еще бедственней — обоих, круглый сирота?

Лучший образ «Родины электричества», перешедший в «Технический роман»,— мудрая старушка, ростом с ребенка (она, собственно, и есть Матерь-Земля). Юноша поднял ее на руки, «сознавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы». Он «попрощался с нею, поцеловав ее в лицо, и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух».

Что же этот обет? Платонов исполнил его до конца.

Есть такая литературная притча.

В одном из московских двориков бегает мальчик, гоняет мяч, кричит и мешает даме на третьем этаже читать последний роман Эриха Марии Ремарка. В это время Эрих Мария Ремарк сидит в кресле-качалке на вилле в Швейцарии и размышляет о жизни. «Нет,— думает он,— жизнь прожита не зря. Я написал несколько хороших книг, меня знают во всем мире, я боролся с фашизмом... Но все же Хемингуэй пишет лучше меня!»

Хемингуэй в это время стоит на палубе своего катера в Карибском море — стоит, крепко вбив в палубу подошвы, шляпа на глазах, в зубах трубка,— леска натянулась, ждет большую рыбу. «Черт возьми! — думает он.— Я жил, как настоящий мужчина! Работал как вол, боролся с фашизмом, у меня было много всего — славы, денег, женщин, я охотился на слонов и носорогов. И все же, все же... Платонов пишет лучше меня!»

А Платонов в это время бегал с метлой в одном из московских двориков за мальчиком, который гонял мяч, кричал и мешал даме на третьем этаже читать последний роман Эриха Марии Ремарка.

* Ленин В. И., ПСС, т. 52, с. 38.



Андрей ПЛАТОНОВ

ТЕХНИЧ РОМАН

1. ХЛЕБ И ЧТЕНИЕ

Жил на свете рыцарь бедный...
ПУШКИН

Бывший паровозный машинист Семен Душин и его помощник Дмитрий Щеглов по окончании гражданской войны поступили в электросиловой факультет гор. Ольшанска.

После учения, вечером, студентам института раздавали по куску хлеба и они уходили домой, а некоторые из них оставались в пустынных аудиториях и съедали хлеб тут же. Оставшиеся собирались вместе и проектировали мелом на доске устройство будущего света. Душин предлагал создать социализм на простой силе рек и ветра, из которых будет добываться электричество для освещения и отопления жилищ и движения машин, а материнское девственное вещество земли нужно не разрушать и не трогать — оно должно впоследствии послужить науке для суждения о неясной судьбе вселенной и ответить на вопрос жизни — правильно ли действует частный разум людей и их небольшое чувство в сердце, когда человечество желает отрегулировать течение мира,— или человек лишь мнимое существо и ярость его действий есть бой невесомого, а стихия всемирного вещества исчезает мимо в неизвестном гремящем направлении к своему торжественному концу.

Душин хотел, чтоб земля пролежала нетленным гробом, в котором сохранилась бы живая причина действительности, чтоб социалистическая наука могла вскрыть гроб мира и спросить сокровенное внутри его: в чем дело? — и слух точной науки тогда услышит, быть может, тихий, жалобный ответ.

Душин боялся втайне, что последующие люди разовьют такую энергию действий, что без остатка уничтожат все мировое вещество и больше ничего не случится.

Щеглов также был согласен с неприкосновенностью земного шара, потому что его отец и мать, четыре сестры и семь братьев лежали в могилах, а он жил один и должен теперь привлекать к научной ответственности все сокрушительные силы непонятного пространства. Однако, когда Щеглов смотрел глазами исподлобья в высоту ночи или видел истощение людей во взаимной истирающей суете, он понимал, что человек есть местное, бедное явление, что природа обширнее, важнее ума и мертвые умерли навсегда.

Пожилой студент Боргсениус, променявший жену-шведку и двоих детей на коммунизм в России, сделал расчет о силе рек и ветра, и силы той получилось достаточно, чтобы пропитать и согреть двадцать миллиардов людей.

Далее рабочие студенты приходили к вопросу об электричестве. К тому времени уже по всей стране революции шли слухи об этой таинственной силе, о молниеносном предмете, похожем в точности на Октябрьскую революцию, и все думающие большевики также озадачивались перед фактом электричества. В некоторых деревнях, как раз самых дальних и забвенных, председатели сельсоветов совместно с кузнецами и конторщиками уже строили электрические станции около публичных колодцев, пользуясь мотоциклами, брошенными убежавшими империалистами,— при этом, вследствие отсутствия бензина,

ЕСКИЙ

моторы мотоциклов гонялись самогоном, добытым из хлеба, а так как самогон горел в моторах плохо, то к мотору прибавлялся местный ум машиниста — и моторы все-таки вращались, а в темных избушках горел свет.

Студенты-электрики понимали, что это мотоциклетное избушечное электричество есть заблуждение с технической стороны, но сердце каждого волновалось от воображения работающего тока во тьме и скуке бедняцкой земли. Узнав про такое событие, Душин засмеялся от радости и сказал всем, что от электричества в соломенной грустной избушке, может быть, начнется весь социализм,— это Октябрьская революция, превращенная из надежды в вещество.

— Нам надо,— сказал Душин,— сходить в комитет партии, пусть большевики постараются подумать об этом, пусть они надышат своей политикой теплоту в те электрические избушки, чтоб они не остыли и не потухли в таком темном, царствующем холоде...

Коммунист Боргсениус решил, что лучше всего сходить в комитет партии самому Душину — он хороший электрик, хотя пока и беспартийный, пусть объяснит точное свое мнение. Душин пошел на другой день в комитет. Комитетом заведывал бывший истопник центрального отопления Чуняев; он обладал таким любопытством, что прочитал все архивы Земской управы и Палаты Мер и Весов — перед тем, как сжечь их в топке водного котла. Чуняев усвоил сообщение Душина со всей громадной силой своей души, беспрерывно готовой на любое пышное и грандиозное дело, и даже прослезился от слабости человеческого сердца. Одного он не понял — берегущей любви Душина к таинственной точке, засветившейся в унылой тьме нищего пространства, и того, что, может быть, больше ничего не потребуется для сплочения коммунизма на земле, кроме развития электричества из рек и ветра. Коммунизм уже близок, он таится в проводах, повешенных на истлевший плетень!

— А что это такое — электричество? — спросил затем Чуняев, уже согласившись на все.— Радуга, что ли?

— Молния,— объяснил Душин.

— Ах, молния! — согласился Чуняев.— Вот что! Ну пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна! Как ты догадался? Мы уж, братец ты мой, до такой гибели дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб — враз и жарко! Научно и великолепно!.. Ну а тебе-то чего надо?

Душин выразил желание съездить в деревню — посмотреть электрическую станцию, а потом поставить добычу электричества во всенародном масштабе.

— Буржуазия, товарищ Чуняев, отчего была культурна? — спросил Душин.— У нее был пролетариат, который работал, а буржуазия только питалась и размышляла...

— Она не размышляла, она размножалась,— поправил Чуняев.— Делала вид размножения, а получалось одно наслаждение...

— Ну не размышляла,— согласился Душин.— Но у нее было время для размышления. А у пролетариата ведь нет никого — ему самому приходится работать, ему задуматься некогда над разными вопросами мира! Вот и пусть теперь электричество поработает, а рабочий класс подумает — ему много задач предстоит в судьбе!..

— Опять-таки верно! — воскликнул Чуняев.— Пускай рабочий класс поработает с миросозерцанием, а не с балдой, пускай электричество-сволочь теперь помучается! Она ведь не живая?

— Неизвестно,— ответил Душин.— Оно тайное.

— Ну и пусть! Орудуй! Что надо — являйся ко мне — круглые сутки!

— А как же начать орудовать? — спросил Душин.

— Как — как! — раздражился Чуняев: сам он умел орудовать безо всего, даже без указаний.— Учреждаю комиссию по всему электричеству в губернии, а ты председатель! Ты член партии?

— Нет.

— Ну, ничего. Будешь в виде исключения... А отчего ты не член?

— Сам не знаю,— произнес Душин.

— Зря! Напрасно! Никуда не годится! — выразился Чуняев.— Что же ты, не хочешь смысл жизни строить с нами среди всего вещества? Ты чуждый, что ль?

— Нет, я свой,— сказал Душин и удивился тому, что целые массы, вся партия строит всемирную истину, а он думал, что только он один желает ее.

— Ну, ступай,— странно посмотрев на Душина, определил Чуняев.— Нечего теперь неопределенно мотаться в нужде: сделаем электричество, и весь коммунизм готов. Сильней электричества ведь ничего еще нету?

— Нет,— подтвердил Душин.

— Ну значит нам подходит! Действуй, стремись скорее вдаль, а то живешь и сердце скорбит: не то это все верно, не то нарочно...

— Что верно? — спросил Душин.

— А любой предмет,— объяснил Чуняев,— и человек, и вихрь... Так один не решишь же никогда: ума мало и горизонт близок, а со всеми массами, может, и выясним центральную точку всемирного недоразумения. Ты думаешь, мы буржуазию победили для одного торжества, что ли: победители, дескать, и герои веков! Для дальнейшего движения, вот для чего. Буржуазия — одна ближняя застава, а дальше — еще тыща бугров... Что же делать: надо терпеть, весь свет есть научный вопрос, а массы решают его своим мученьем.

— А что если, товарищ Чуняев, наука увидит в конце концов, что мир состоит из одних вопросов!..

Ярость мысли появилась на здоровом добром лице Чуняева:

— Да ну!? Оттого, наверно, из целых миллиардов лет и не получается ничего!.. Ну и пускай! Мы тогда сразу сделаем из этих вопросов одно решенное дело! Я ведь такой человек! И все наши массы такие! Мы дознаемся с точностью, откуда человек произошел: от обезьяны или еще хуже! Мы всех мертвецов выкопаем, самого ихнего начальника Адама найдем, на ноги его поставим и спросим: ты откуда явился, либо бог, либо Маркс,— говори, старичок! Если скажет правду, Еву ему воскресим, а нет — будем перевоспитывать... Мы ведь такие люди! Мы живем ответственно! Мы — жуткие!

Душин молча изучил устройство электростанции, не обращаясь к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла он прочел номер машины: Е-Р-401 и удивился, что это был номер его паровоза; а под тем номером имелась еще мелкая английская подпись, означавшая в переводе воинскую часть: «7 британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревне шли под землей, в глухом кабеле, и вечером торжественно сияли окна избушек, охраняя от тьмы революцию.

В начале ночи Душин вошел в одно бедняцкое жилище: он увидел, что четверо детей лежали на лавках и глядели на моргающий электрический свет, не желая спать от интереса; ихняя мать тоже выглядывала с печки на свет, надеясь, что он быть не может и вскоре погаснет; сам же пожилой хозяин сидел за столом и читал книгу под освещением, произнося вслух склады очередного слова: мо-мо-мо...

Душин издали поздоровался со всеми и сел в стороне, следя за действительно горящей лампочкой в двадцать пять свечей. Начитавшись, хозяин жилища сложил книгу, завернул ее в старую гербовую бумагу и спрятал в сундук на замок: он высоко ценил печатные мысли, потому что они давали ход его собственному соображению; он не надеялся ни на что, кроме науки, и любил свободу сердцем империалистического невольника, запертого на время в нищую хижину.

Когда они уже наговорились в течение часа, только тогда житель избы подал руку гостю и объявил себя: «Иван Матвеевич Агурейкин, безлошадный бедняк, живу так себе, но теперь надеюсь».

— На что же вы надеетесь? — спросил Душин.

— Нас с наукой соединяют,— ответил Агурейкин и показал на электрический свет.— Всемирная мысль идет нам навстречу, я гляжу на нее и надеюсь...

Здесь Агурейкин вывернул лампу из патрона, и свет погас. Агурейкин полагал, что не следует теперь тратить без счета народные силы, поскольку они являются уже научным веществом — электричеством. Дальнейшие переговоры происходили уже в темноте, и дети тоже не спали, а шептались чего-то, все более удивляясь тревоге жизни, охватывающей их мелкие худые существа. Агурейкин же, несмотря на малограмотность, успел за революцию прочитать столько книг, что ум его тронулся с места, стремился в такую даль познания загадок, где неизвестно что было. Электричество, астрономию, силу тяготения и прочие естественные данные Агурейкин представлял не логическим способом, а в виде цветущего бурьяна бушующих явлений, в дебри которого отправится навеки блуждать новое умственное человечество, освобожденное от насущной скорби своего пропитания.

Оставив Агурейкина думать о свободе человека в гуще мировых сил, Душин пошел дальше по улице электрических избушек. По всему пространству лежала теплая обширная ночь, некоторые девушки ходили по дороге со своими женихами, и без сознания шелестели лопухи в овраге. Душин спустился в овраг, постоял там в глуши, слушая рабочее биение отдаленного английского мотоцикла, и направился в другое жилище...

Кроме пожара, вихря, ливневого размыва и другого бедствия деревенской стихии, были, видимо, другие стихии, которые разрушали сельские избы с могуществом и точностью урагана. Мимо одной такой избушки Душин прошел было, но потом вернулся к ней с грустным чувством. Эта изба походила на старушку, оставшуюся одинокой в мире после похорон всех своих поколений, и жить которой было не для кого, поэтому она стояла в нечистоплотном беспамятстве, в обмороке отчаяния. Кругом избы не было двора, отходы жизни выливались тут же в землю и пропитали почву настолько, что трава давно не могла расти; ветер или время уничтожили с крыши все остатки соломы, и бедность ничем не сумела покрыть тощие жерди; побелку стен и даже глину выел дождь, так что виднелись наружу самые кости избушки — кривые бревна, уложенные туда не позднее середины девятнадцатого века, потому что с них сыпался тлен от трения пальцем; из трех окон того жилища два были заглушены вслепую каким-то прахом, но зато третье окно светилось блестящим электричеством и на подоконнике цвело растение в горшке; ни фундамента, ни завалинки у избушки не было, а если что было, то уже ушло в землю — таким образом это ветхое здание погружалось в свою могилу. Душин прислушался: в избушке кто-то неясно пел, словно женщина.

В этой избушке Душин встречается с девушкой. Начавшееся сближение прерывается приходом нескольких молодых людей, и вскоре вслед за ними приходит отец девушки.

— Здравствуйте, женихи! — сказал старик всем присутствующим.— Ишь, невеста! — обратился он к дочери.— Нынче у хозяина поп из волости в гостях был, а я сливки допил и куски дочери собрал...

Его черноволосая дочь сейчас же начала есть остаточные куски с зажиточного стола, а старик, опьянев от хозяйских опивок, начал говорить всем женихам про великую идею всемирной спекуляции, которая мгновенно вдарила ему сегодня в голову при виде застольного торжества тунеядцев.

Старик враз сбегал к соседям за бумагой и чернилами и, вернувшись, велел тут же писать одному жениху письмо Владимиру Ильичу Ленину. Жених сел к столу против невесты и начал писать, не интересуясь всемирным вопросом. Старик подробно высказал свою идею превращения злобной буржуазии в смирное и бедное население, вполне покорное советской власти. Для этого надо заложить в главном банке капитализма всю российскую ~~советскую~~ республику — и сушу ее, и всю жидкость на ней, и даже твердь над нею. А когда банк капитализма выдаст облигации на тысячи миллиардов рублей, то эти облигации поручить Владимиру Ильичу, а он пусть играет тогда пролетарскими талонами среди мировых акул на сцене хищников биржи. Раз Владимир Ильич — гений и раз он будет богаче любого империалиста, следовательно, он легко обыграет все те элементы, которые украли мир себе в карман. Следовательно, всю буржуазную сушу вполне можно завоевать посредством спекуляции на всемирной бирже, посредством одних арифметических действий с облигациями в гениальном уме.

— Подпишись теперь полностью за меня! — со страстью своего торжествующего чувства воскликнул старик.— Пиши. Пиши подробно: батрак кулака Болдырева Иван Поликарпович Вежличев, сочувствующий всей контратаке на паразитов... Владимир Ильич, спекулируй, пожалуйста, доведи буржуазию до капитального краха, до полнейшего убытка и нищенства, ограбь ограбленное, действуй экономически, мой стаж жизни пятьдесят семь лет, тружусь в работниках полвека, вся надежда — мечта, семейное положение — вдовец и дочка Лидия, гордость республики за красоту... Все поспел написать?



Рисунки Вячеслава ЛОСЕВА

— Управился,— сказал жених и нарисовал в конце письма почему-то аэроплан.

Наутро Душин и Лида решают, что она будет его женой и выедет в город, где будет дожидаться его возвращения. В поле они встречают крестный ход по случаю засухи. Душин разговаривает с отставшей от хода старушкой.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием.— Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж умерло помаленьку. Ты взгляни на меня, какая я есть.

Старуха встала перед Душиным и приподняла юбку, забыв про стыд, про любовь и всякое другое неизбежное чувство. Верно было, что на старухе немного осталось живого вещества, пригодного для смерти, для гниения в земле. Кости ее прекратили свой рост еще в детстве, когда горе труда и голода начало разрушать девочку; кости засохли, заострились и замерли навеки. Нажитое в молоке матери тело тоже впоследствии истощилось в ручном труде, способном прекратить не только старуху, но и еще двадцать человек, если б только законы природы и людей не расхищали плодов ее согбенного усердия. Но это расхищение коснулось даже самой плоти старой крестьянки, и она была раскрадена и уничтожена почти без остатка,— только в умозрении можно догадаться, как случилось такое событие,— но тех, кто именно съел живой вес старушки, можно было собрать фактически и убить. И вот теперь Душин видел ничтожное существо, с костями ног, прорезавшимися, как ножи, сквозь коричневую изрубцованную кожу. Душин нагнулся в сомнении и попробовал эту кожу — она была уже мертва и тверда, как ноготь, а когда Душин, не чувствуя стыда от горя, еще далее оголил старуху, то нигде не увидел волоса на ней, и между лезвиями ее костяных ног лежали опустившиеся наружу темные высушенные остатки родины ее детей; от старухи не отходило ни запаха, ни теплоты, Душин обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Старуха покорно сняла платок с головы, и Душин увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые развалиться и предать безвозвратному праху скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, и я соседу пойду поклонюсь,— сказала старуха,— и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду отплачиваться — за мешок полтора мешка... Разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека,— и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить-то нечем уж!

Она задрала кофту и показала грудь — на ней висели два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища,— остатки молочных сосудов,— а кожа провалилась между ребер, но сердце было незаметно, как оно билось, и вся грудь была так мала, что только немногое и сухое могло там находиться,— чувствовать что-либо старухе было уже нечем, оставалось лишь мучиться и сознавать мысленно.

Такая грудь ничего уже не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать.

Душин отошел прочь, наполненный душой и скорбью. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, направился назад на деревню. Осталась одна старуха, говорившая с Душиным, и еще Лида Вежличева, бегущая из отцовского дома.

Душину удается приспособить деревенскую мотоциклетную станцию к насосу для поливки полей вдов и красноармейцев, но приток воды оказался недостаточным.

Но председатель не огорчился и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день председатель, делопроизводитель и двадцать женщин с худыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату вглубь полей, но ручей воды иссох уже вблизи водокачки. Из расщелин и земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди,— они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере.

Вдовы окружили Душина и начали ругать его за

недостаток воды и за бедную силу машины. Душин выслушал их без боязни, а председатель произнес заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил среди тишины природной безнадежности:

— О, граждане, не тратьте ваши звуки — среди такой всемирной бедной скуки... Стоит, как башня, наша власть науки, и этот вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умною рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной, и хватит всем куриного яйца. Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отобьет. Напротив — он всю землю чисто в научное давление возьмет... Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках бедняки, минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски. Я тоже ел три дня назад, жена моя лежит в гробу, детишки ходят к ней под крест, чтоб поглядеть, где ад, где мать родная их кричит свою мольбу! Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое свое великое гу-гу!..

Председатель устал от жары и семейного страдания по умершей жене, хотя лицо его не потеряло доброты своих складок, и он сказал прозой бабамвдовам, смотревшим на него с ужасом, как на представление, и с улыбкой любви, как на свою власть.

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше, машина эта антервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород...

Душину удается усовершенствовать свою водокачку, она начинает давать большой приток воды, но взорвался спиртогонный аппарат.

— Идите вот теперь,— сказала старушка,— идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит... Все для вас, чертей, кодей этот варил...

Душин равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старика, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал с посудой у отводящей трубки котла, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках; котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя оконными рамами. Сейчас старичок лежит и постепенно опоминается, а завтра начнется ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите,— спросил Душин у старушки.— Это авария, а сельсовет здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь,— ответила бранившаяся старуха.

— Хорошо, я запишу,— ответил Душин и, вынув книжку, написал так: «скорее надо организовать мир на покой».

Старуха враз успокоилась. Душин дал механику устную инструкцию о насосе и пошел пешком по теплой ночи в Ольшанск.

Душин возвращается в Ольшанск. Там между Лидой и Щегловым начинается сближение.

В течение лета Душин писал по указанию Чуняева книжку об устройстве коммунизма на силе электричества, причем воображал себе электричество в виде могучего укрепленного укрытия, возведенного вокруг будущего, мирного подворья человечества, для защиты его от смертельного волнения природы.

Лида училась в подготовительной группе совпартшколы, но по вечерам была свободна и часто встречалась со Щегловым, который жил без изменения. Вдвоем они ходили по полям, сидели над оврагами и говорили разные ничтожные вещи; при этом Щеглов никак не мог понять ум или достоинство Лиды — она ничем не интересовалась, быстро забывала, чему ее учили, и была глупа и красива, как ангел на церковной стене. Но зато простота, как греющий ветер, жила в душе Лиды, и она часто обнимала Щеглова по дружбе, и не отказала бы ему ни в чем, если б он захотел, потому что не ценила себя и ничем не гордилась.

Душин и Щеглов кончили курс. Состоялся выпускной вечер. Выступление Чуняева.

Чуняев открыл перед присутствующей молчаливой молодостью бесконечность истории и под конец осветил ее электричеством, прожектором пролетариата.

— В одной руке рабочий класс держит меч власти,— сказал Чуняев в безмолвный мечтающий зал института,— а в другой... другой же рукой он схватывает молнию науки, красную жар-птицу всего рабочего человечества... Да здравствует наш рабочий инженер, вооруженный ум пролетариата!..

После речи наступило торжество. Пришел малочисленный оркестр трудовой армии и начал робко играть первые вальсы мирной жизни. Студенты отвыкли танцевать, благодаря войне и теоретическим занятиям, и плохо шли под музыку, только одна Лида враз почувствовала мелодию и быстро приучила к ней движение ног. Однако на звук оркестра в зал института вскоре набрались с воздуха какие-то ожившие послевоенные девицы кухарочного образца и привели с собой под руку будущих пижонов. Они энергично освоили зал и показали класс по танцам молодым инженерам, которые держались в стороне от этой стихийной уличной юности. Но Лида не выдержала, она пошла в круг танцующих, и ее взял лучший парень, оценив достоинство ее красоты, а оставленная подруга того парня пошла в уборную, чтобы порыдать там от ревности и приготовить химическую присушку своему ухажеру против черноволосой разлучницы.

В полночь Душин взял под руку Лиду и пошел гулять с нею, пользуясь светлой ночью; вместе с ними шел Щеглов, неся на груди свою немощную руку, как будто бы он держал невидимого ребенка.

Все трое шли в молчании, в неясности своей дальнейшей жизни, ибо революция в те годы была как пространство — открытое, свободное, но еще не заполненное — и его пустота висела над сердцем, как тревога и как опасность. Душин бормотал в уме слова об электричестве и населял им в своем воображении всю революцию. Он поглядывал иногда на дальние звезды и решал с успокоением, что это суть короткие замыкания тока в хаосе сил бесконечности.

— Сеня, вас учили, сколько звезд на небе? — спросила Лида у мужа.— Там, наверное, интересно!

— Их бесконечное число,— ответил Душин.

— Как же так? — с разочарованием опять спросила Лида, она не знала — сколько это: бесконечно.

— А сколько же?! — допытывалась она.

— Говорят тебе — бесконечность!

Но Лида была в недоумении: она привыкла воображать все слова в виде предметов и только тогда в них верила, а бесконечности вообразить не могла.

— Ну тогда — пускай! — сказала Лида, отвергая бесконечность как несуществующее.

— Это ошибка,— произнес Щеглов,— бесконечности нету, мы просто не знаем еще, сколько звезд на небе, вот и все... А это число все равно есть. Если б звездам не было числа, то их бы ни одной не светило на небе...

— И верно что! — сказала Лида, не понимая, но удивленно чувствуя простое соображение Щеглова.

— Но как весь мир-то стал быть?

Щеглов поглядел на нее с обычной кротостью.

— Наверное, не было ничего и законов никаких не было,— сказал он.— И случилось что попало — сразу все, как взрыв, и стало интересно...

Щеглов сам не знал, почему это казалось ему верным; ум его иногда думал без спроса, нечаянной силой своего внутреннего запаса, и легко показывал ясные пространства действительности.

Душин промолчал в недовольстве: он решил больше не разбазаривать своих сил на размышление о бесконечности, поскольку она не имеет отношения к человечеству на поверхности земли, к организованному устройству прекрасной жизни.

Окончание следует.

Александр Городницкий — имя из уже ставших легендарными шестидесятых. КСП, слеты, костры, «возьмемся за руки, друзья». Не станем судить об объективной ценности вклада в русскую культуру наших первых бардов, но, прокручивая вспять ленту времени, мы понимаем, что целая эпоха озвучена их песнями. Кто, к примеру, не помнит «Атлантов» Городницкого?

Александр Городницкий в отличие от многих «физиков-лириков» не остался сидеть на опушке у костра.

В этой подборке нет и тени цветущей ныне буйным цветом необычайной легкости. Это честные, продуманные стихи.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

ПАМЯТИ ДИКТОРА ЮРИЯ ЛЕВИТАНА

С полей пылающих днепровских,
Где шел наш пыльный эшелон,
Я помню голос этот жесткий,
Военного металла звон.
В дни пораженья и отмщенья,
В дни отступлений и тревог,
Он был звучащим воплощеньем,
Небесным голосом того,
Кого от центра до окраин
Любили, страху вопреки,
И звали шепотом: «Хозяин»,
Как будто были батраки.
Того, кто их в беде покинул,
Кто гением казался всем,
Кто наводил им дула в спину
Приказом двести двадцать семь.
Я помню грозный этот голос
В те исторические дни.
Он был подобьем правды голой
И дымной танковой брони.
Он говорил о высшей каре,
Он ободрял и призывал.
Владелец голоса, очкарик,
Был худощав и ростом мал,
В семейной жизни не был счастлив,
Здоровье не сумел сберечь,
И умер как-то в одночасье,
Не дочитав чужую речь.
Но в дни, когда в подлунном мире
Грядет иная полоса,
Когда на сердце и в эфире
Звучат другие голоса,
Когда порой готов я сдаться,
И рядом нету никого,
Во мне рокочет государство
Железным голосом его.

ВСПОМИНАЯ ФЕЙХТВАНГЕРА

По-весеннему солнышко греет
На вокзалах больших городов.
Из Германии едут евреи
Накануне тридцатых годов.

Поезд звонко и весело мчится
По стране, безмятежной и чистой,
В воды доброго старого Рейна
Смотрят путники благоговейно.

Соплеменники, кто помудрее,
Удивляются шумно: «Куда вы?
Процветали извечно евреи
Под защитой разумной державы.

Ах, старинная Кельнская площадь!
Ах, Саксонские светлые рощи!
Без земли мы не можем немецкой,—
Нам в иных государствах —
не место».

Жизнь людская — билет в лотерее,
Предсказанья не стоят трудов.
Из Германии едут евреи
Накануне тридцатых годов.

От Германии — родины милой,
Покидая родные могилы,
Уезжают евреи в печали,—
Их друзья пожимают плечами.

МАЯКОВСКИЙ

Этот браунинг дамский в огромной
руке!
Этот выстрел, что связан
с секретом,
От которого эхо гудит вдалеке,
В назидание прочим поэтам!
Отчего, агитатор, трибун и герой,
В самого себя выстрелил вдруг ты,
Так брезгливо воды избегавший
сырой
И не евший немытые фрукты?
Может, женщины этому были виной,
Что сожгли твою душу и тело,
Оплатившие самой высокой ценой
Неудачи своих адюльтеров?
Суть не в этом, а в том, что
врагами друзья
С каждым новым становятся часом.
Что всю звонкую силу поэта нельзя
Отдавать атакующим классам.
Потому что стихи воспевают террор
В оголтелой и воющей прессе,
Потому что к штыку приравняли
перо
И включили в систему репрессий.
Свой последний гражданский ты
выполнил долг,
Злодеяний иных не содеяв.
Ты привел приговор в исполнение
до,
А не задним числом, как Фадеев.
Продолжается век, обрывается
день
На высокой пронзительной ноте,
И ложится на дом Маяковского тень
От огромного дома напротив.

ДВА ГОГОЛЯ

Два Гоголя соседствуют в Москве.
Один над облаками дымной гари
Стоит победоносно на бульваре,
И — план романов новых в голове.
Другой, неподалеку, за углом,
Набросив шаль старушечью на плечи,
Сутулится, душою искалечен,
Больною птицей прячась под
крылом.
Перемещен он с площади за дом,
Где в тяжких муках уходил от мира,
И гость столицы, пробегая мимо,
Его заметит, видимо, с трудом.
Два Гоголя соседствуют в Москве,
Похожи и как будто непохожи,—
От одного мороз дерет по коже,
Другой — сияет бронзой в синеве.
Толпой народ выходит из кино,
А эти две несхожие скульптуры —
Два облика одной литературы,
Которым вместе слиться не дано.

ПУБЛИКУЕМ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СНИМКИ ИЗ НЕМЕЦКОГО АРХИВА АДН-ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД. В «ФОТОЦЕНТРЕ» СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР К 45-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА «ЛИЦО ВОЙНЫ».



Групповой снимок двух красных командиров в окружении офицеров вермахта под портретом Вдохновителя и Организатора — документ, увы, подлинный. Немец нажал кнопку затвора под Брест-Литовском в сентябре 1939-го... Через два года они снова встретятся на этой земле — у стен Крепости...

Но и через горькое осознание подлинности этой фотографии нам нужно





пройти, глядя в глаза своей обретенной Истории.

...Вот они веселятся на нашей лужайке, посланные топтать ее **своим** «вдохновителем и организатором», сурово взирающим на человечество. Вот один из них за работой — горит деревня Лосево и еще гореть будет — граната уже занесена, не остановить... Не остановить, казалось им.





...Не остановить, казалось им.

А все-таки остановили. И ту рвущуюся гранату собственным телом накрыли, миллионами тел. В их числе — и эти пленные солдатики, сидящие под дулом немецкого ручника, и этот парнишка за колючей проволокой с немым вопросом в глазах, захваченный под Ржевом.









Пройти по этим горестным вехам войны необходимо, чтобы понять и ощутить, как же произошла такая, как им казалось, нелепица — разве для этого овладевали они этим пионерским знаменем, чтобы потом награждать крестами пацанов пионерского возраста из фольксштурма, потому что награждать было больше некого: остальные полегли под крестами с касками?...

Георгий РОЖНОВ

КРЫША

В Воронеже событие: убит Брычев. Вячеслав Михайлович. Славик. Брыч. Женат, молод, судим. Мясник Центрального рынка.

Похороны едва не державные. Траурный кортеж — десяток автобусов и семьдесят два легковых автомобиля. Отдельно — оркестры, венки, горы живых цветов в начале марта. На перекрестках вместо милиции — крепкие мальчики в кожаных пальто или кожаных куртках. Могила — на юго-западном кладбище, где уже не хоронят даже номенклатуру. В дни похорон и поминок — никаких комедий в кинотеатрах, никакой порнухи в видеотеках, никакой «Ламбады» в ресторанах — траур. Венков на могильном холме уйма, а на лентах надпись одна: «Славику от друзей».

Друзья стоят при прощании молча, строго, прощаются с усопшим без слезинки, в голосе металл:

— Мы отомстим. Смерть за смерть.

В управлениях внутренних дел и госбезопасности офицерам раздают табельное оружие, рации, бронежилеты, флаконы с «Черемухой». Разъезжаются по городу группы захвата — брать друзей Брыча. Кто удачно, кто нет — успели лечь на дно. Привозят изъятые стволы, наркотики, совзнаки и валюту. Чертыхаются: спугнул клиентов выстрел в Брыча, ищи теперь ветра в поле. Одна мелочь идет, нижний эшелон — «пехота».

Убил Брыча стыдно сказать кто — мужик до того неприметный, в оперативных сводках и не мелькал никогда. Да и с чего мелькать — не торгаш, не кооператор, от получки до получки жил. Летом подрядился сторожить сады на юге, заработал пять тысяч, а на весь город растрепал, будто все двадцать. Брыч тут как тут, приехал за бедой своей на «Волге» с двумя приятелями: «Отдай!» Тот, понятно, ни в какую. Два дня его пытали — как в домашних условиях, так и с выездом. Опять не отдает. Пришлось Брычу браться за детей этого упрямца — одному годик, другому — четыре. Тут отец и осмелел — ухватил ружье и прямо Брычу в сердце из двух стволов.

Убийцу не арестовали, но спрятали понадежнее — помнили, что обещано было ему на тех похоронах. Фамилию его, понятно, даже в стенах прокуратуры вслух не называют, говорят — «Стрелок». И в прокуратуре, и в УВД, и в УКГБ сам слышал: «Черт бы побрал этого Стрелка — всю разработку провалил». Оба здешних генерала — Резниченко из УВД и Борисенко из УКГБ — тоже в неудовольствии. Они считают Брычева если не отцом, то старшим сыном здешней мафии, знакомы не один год, подступались совсем близко, да всегда и отступали. Теперь уверяют: Брыча надо было еще пасти, а уж если брать, то наверняка, с выходом на все его связи.

Теперь ломай голову, что с этим Стрелком делать.

Следователь его спрашивает:

— Может быть, тебя, от греха подальше, в тюрьму посадить?

— А жена как? Дети?

Следователь молчит.

Я спросил у него:

— Что же теперь с человеком будет?

— Как что? Убьют.

Я походил по кабинетам двух серьезных в городе управлений, поговорил с офицерами — Брыч у всех на языке. Вспоминают, какие он тут дела проворачивал, каким был всегда везунчиком, как оставлял с носом и сыщиков, и следователей, и прокуроров с судьями. Наслушался я этих рассказов и тоже загрустил — в те недавние совсем годы, когда я носил такую же форму, как и мои сегодняшние собеседники, не выпал мне случай повстречать такого удальца, как Брыч.

Меня утешили — познакомьтесь, пока не поздно, с Запеваловым, его, поди, вся страна знает. Чем не фигура — главарь вооруженной банды, куча оружия, два убийства, готовился хапнуть золота и уйти за кордон. И если об окружении Брыча пока помалкивают — идет следствие, то с Запеваловым и его сообщниками Бердниковым, Мосичевым, Андреевой можно встретиться хоть сейчас. И со следователями КГБ, которые вели это громкое дело. И прочитать, если осилю, все его тринадцать томов.

Сам Запевалов получил «вышку», сидит сейчас в камере смертников и ждет то ли казни, то ли помилования. Дело я прочитал, с Запеваловым, офицерами милиции и госбезопасности познакомился. Начинал, признаюсь, без особой охоты, не я был первым, о деле этом действительно вся страна узнала.

Сейчас я вспомнил, сколько газет в тот месяц писали о банде Запевалова, нашел их и перечитал: «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», в Воронеже нашел местную «Коммуну». «Медицинская газета» тоже откликнулась — Запевалов кончал учиться на детского врача.

Газеты уверяли, что ликвидация банды — ощутимый удар по организованной преступности. Вот и думай — стоит ли после всех этих публикаций и победных фанфар возвращаться к делу Запевалова еще раз?

У начальника 6-го отдела УВД подполковника милиции А. Куркина, который именно с такой преступностью и борется, я спросил: верно ли пишут, что после разгрома такой страшной банды любимый город может спать спокойно? Или, если говорить строже, официальнее: улучшилась ли в Воронеже криминогенная обстановка?

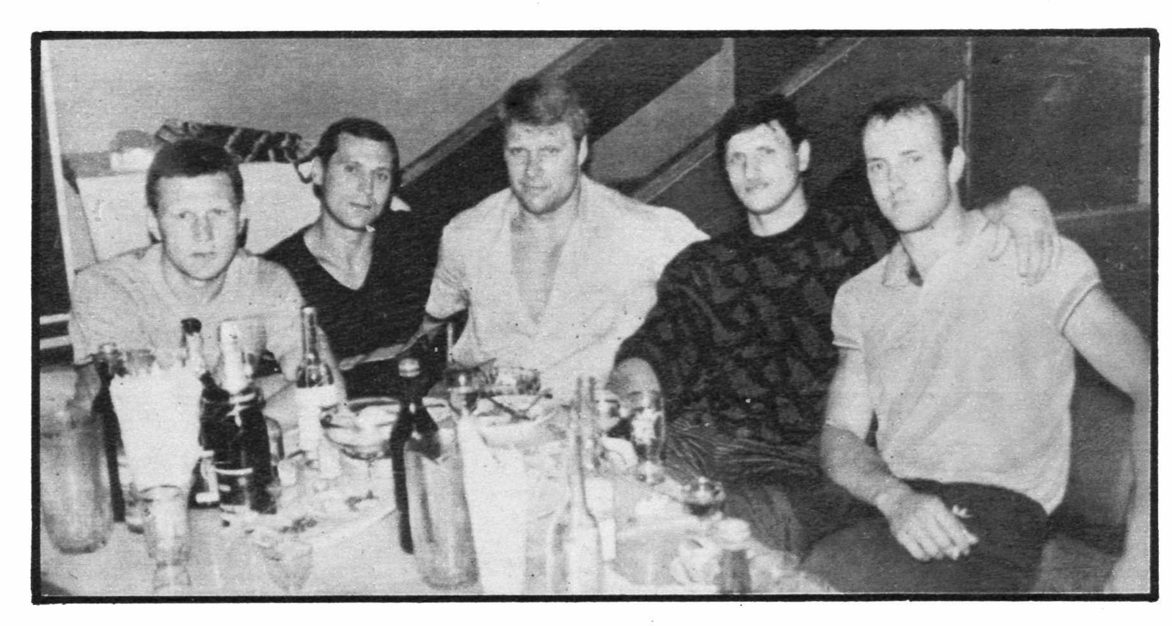
Алексей Дмитриевич эти дни и ночи мотался с опергруппами по каждому подозрительному адресу, ухватывал и тут же терял то одно, то другое звено в протянутой Брычем цепочке, часто натыкался на оружие, наркотики, валюту, нервничал от опозданий, проколов, непонимания и неразберихи, предполагал, что я уже ориентируюсь в сложившейся в городе оперативной обстановке, и потому молча счел мой вопрос дурацким.

Что я знал к тому времени о деле Запевалова? Из множества эпизодов, которые попали в поле зрения следствия и суда, я выделил те, которые были столь очевидны, что не вызывали сомнений ни у государственного обвинения, ни у защиты, ни у суда и которые не отрицали и сами обвиняемые. Трое — Запевалов, Бердников, Мосичев — с декабря 1987 года стали собирать оружие с целью нелегального перехода госграницы. Преступление? Безусловно. В декабре 1988 года Запевалов вместе с сестрой Бердникова Андреевой убил в Москве с целью ограбления содержательницу притона Г. и проститутку З. Преступление? Тягчайшее. А теперь я выскажу мысль, которая покоробит многих: и хранение оружия, и убийство — обычные, каждодневные преступления, которые уже перестали потрясать души наших сограждан.

Выслушав эти мои суждения, подполковник Куркин понимающе помолчал, собрался, сделал лицо серьезным, глаза — строгими и посоветовал адресовать мои вопросы УКГБ — следствие по делу банды Запевалова вели там. В беседе с заместителем начальника Управления КГБ СССР по Воронежской области полковником А. Никифоровым я свой интерес сузил: не кажется ли ему, что мои коллеги-журналисты дело раздули? Не зряшный ли это ажиотаж?

Алексей Дмитриевич насторожился, подумал и ответил, как принято говорить, взвешенно:

— Народ устал от разгула преступности, от беспомощности наших правоохранительных органов. Второе: народ надо было успокоить, обнадежить, убедить в том, что чекистам по силам борьба с организованной преступностью.



Теплая компания Брыча.

Это и сделали средства массовой информации.

Полковник не скрывал, что ему не по душе мои сомнения или, как он выразился, установка. С чего бы так вдруг?

Тут я вынужден возразить — не вдруг. Я, как все наши подписчики, как мой уважаемый собеседник и его подчиненные, тоже числю себя читателем, зрителем, слушателем; газетам, радио и телевидению, по крайней мере последние пять лет, стараюсь доверять, и, если мне едва ли не хором твердят, что в Воронеже чекисты преуспели в борьбе с организованной преступностью, я искренне верю, что так оно и есть на самом деле. Но когда из тех же газет уже сейчас, в конце марта, я узнаю, что в том же Воронеже те же УВД и УКГБ начали борьбу с воротилами преступного бизнеса, я вправе считать себя либо полным профаном в оперативной работе, либо полностью околпаченным. Ни один из этих вариантов мне не по душе, а читатель, полагаю, и вовсе в недоумении: если, допустим, банда Запевалова — организованная, то банда Брыча — дилетанты из уголовной самодеятельности? Или наоборот?

Вопросы эти не случайны, естественны — они родились из простейшего сравнения документов дела с их печатной интерпретацией, а потому хватит с меня хождения по чужим следам, попробуем заново, самостоятельно осмыслить всю череду криминальных событий в Воронеже за год с небольшим, сделав при этом экскурс в недавнее прошлое и попытавшись заглянуть в ближайшее будущее.

Начинать лучше с того, с чего, собственно, и начиналось дело группы Запевалова, названной впоследствии бандой,— с ночи с 24 на 25 марта прошлого года, когда в Северном районе Воронежа, у самого ипподрома прозвучали выстрелы.

Эта ночь описана уже не единожды, этот повальный интерес к заурядному в общем-то событию нам еще предстоит понять. Я очень облегчил бы себе задачу, если бы просто процитировал одну из шести публикаций. Но не могу — словно о разных таких ночах пишут авторы. Пристальнее всех изучали воронежское дело В. Кондаков и А. Пятунин — собранного ими материала хватило на три больших статьи в «Советской России». Заголовок — «Банда», рубрика — «Чекисты в борьбе с преступностью». Видимо, случай на ипподроме их так потряс, что они описали его дважды, повторяясь дословно. Читаю: «Мартовским вечером в кабинете дежурного по городу раздался звонок: «У нас в микрорайоне ипподрома какие-то лица затеяли стрельбу из пулемета!»... Ближайшей оказалась машина подполковника К. Кулакова и капитана М. Сидорова. Времени на подготовку к операции не было, и на место происшествия они приехали без оружия... На опушке леса двое преступников действительно пристреливали ручной пулемет... И двое офицеров шагнули навстречу бандитским пулям: «Руки вверх!»

У собкора «Социалистической индустрии А. Павлова своя подробность: «Пулеметные очереди стеганули ночную тишину». И, наконец, В. Милютин в «Медицинской газете» ведет речь уже не о двух, а о трех пулеметчиках. Во всех публикациях преступники люто и умело сопротивляются, пытаются скрыться, их настигают мастерскими приемами, после чего заковывают в наручники.

Уже в первом чтении эти рассказы показались мне, мягко говоря, странными. Газеты представляют офицеров милиции героями, а я вижу их действия, во-первых, зряшными, во-вторых, неграмотными. К чему, скажите, подставлять грудь под пулеметные очереди, если стрельба идет в чистом поле и никому в ночной тиши не угрожает? Еще больше сомнений появилось тогда, когда из материалов следствия стало ясно, что тот немецкий пулемет по причине своей дряхлости вообще не мог стрелять очередями, а при одиночном режиме его заклинило. Преступников действительно было двое: уже упоминавшиеся мною Запевалов и Бердников. Как же на самом-то деле с ними справились Кулаков и Сидоров?

Константин Васильевич Кулаков руководит расследованием убийств в Управлении уголовного розыска УВД. Сыщиком он стал без малого два десятка лет назад. Моложав, улыбчив, чуть намеренно простоват. Журналисты ему изрядно поднадоели, и я чувствую грех на душе, что оторвал подполковника от выслеживания очередного убийцы. Посмеиваясь, он выразил надежду, что я не буду в очередной раз делать из него Матросова, ложившегося на пулемет, и давать пищу для местных остряков.

— Дело было так,— рассказал Кулаков.— Мы с Сидоровым мотались в машине по некоторым адресам по Северному району. Оружие нам тогда было ни к чему. Часика в двадцать три слышим по рации — стрельба у ипподрома. Я Сидорову говорю: тут рядом, подскочим? Подъехали к последнему дому, дальше лес, остановились. В лес впотьмах идти было глупо, если кто оттуда выйдет — прямо на нас. И точно, выходят двое. У одного, что повыше ростом, на плечах какой-то сверток завернут. Ношу он свою бросил, дернулся, но куда там — взяли мы их. Вот и все.

Мне кажется, я начинаю понимать, почему мои коллеги прибегли к таким отнюдь не творческим домыслам. Если уверять читателя, что в Воронеже разоблачена вооруженная банда, действовавшая на протяжении почти полутора лет, что она совершила уже два убийства и готовилась «к хищному прыжку за границу», что главарь ее, Запевалов,— жестокий, опытный мафиози, мыслимо ли было допустить, что арестовали преступников столь прозаично? Вдруг горожане возьми да и спроси: а куда ж вы, товарищи милиция и КГБ, глядели все эти полтора года и только случайно изловили бандитов? Та же «Советская Россия» к такому любопытству готова: «Откуда было знать бандитам, что накануне начальниками УКГБ СССР по Воронежской области генерал-майором А. Борисенко и УВД — генерал-лейтенантом Л. Резниченко был утвержден детально разработанный совместный план операции по обезвреживанию этой вооруженной группы. Предварительно план согласован с прокурором области государственным советником юстиции 3-го класса Ю. Горшеневым».

После бесед с обоими генералами утверждаю: это неправда. Не было и не могло быть плана, который брал бы «под колпак» именно эту банду. Зная теперь это, я с еще большим удивлением читаю в «Правде» статью В. Степнова «По лезвию бритвы». Рассказывая все о той же стрельбе у ипподрома, он пишет: «Стрелявшие были уверены, что в лесу они одни. Но уже несколько суток оперативные работники милиции и КГБ буквально не спускали с них глаз». Тут уж совсем концы с концами не сводятся: если Запевалову, как говорят, «сели на хвост», то чего же ради позволять ему палить из пулемета и на задержание посылать безоружных милиционеров? Одно из двух: или слежка была никудышной, или, что более очевидно, ее не было совсем.

Кому-нибудь еще не ясно, почему, едва начав рассказ об этом деле, я сразу натолкнулся на все эти несуразности, на всю эту липу, на откровенное преувеличение грозившей горожанам опасности и героизма сыщиков? Тогда объясняю: пока речь шла о хранении оружия и даже об убийстве, в котором Запевалов, кстати, признался добровольно уже на третий день после задержания,— обычную эту уголовщину расследовали милиция и прокуратура. Но когда Запевалов с Бердниковым лишь только обмолвились, что мечтали сбежать за границу, ограбить там миллионера и купить банановый остров, а Мосичев добавил, что мечтал укатить в Гонконг, стать там мастером по борьбе кун-фу,— дело немедленно было передано для дальнейшего производства в УКГБ. И там в следственной группе оно почти сразу же стало приобретать откровенно политическую окраску. Едва не самым весомым доказательством стала теперь зеленая тетрадь, изъятая у Запевалова при обыске и приобщенная теперь к делу. Там довольно пространные цитаты из Ницше, Шопенгауэра, Фрейда — о природе человека и сверхчеловека, о силе и власти, о личности и толпе. В. Кондаков и А. Пятунин из той же «Советской России» не могли пройти мимо этой идеологической заразы: «Все, о чем пишет Запевалов, человечество уже проходило. Проходило на самом горьком опыте. И когда пылал рейхстаг. И когда коричневые орды маршировали по Европе. И когда советские солдаты своими телами прокладывали путь свободе от окраины Москвы до фашистского логова в Берлине». После упоминаний о рейхстаге и коричневых ордах повернется у кого-нибудь язык назвать Запевалова просто уголовником? Да и само его дело — разве только об убийстве, хранении оружия и мечтах удрать за границу? «Оно,— вразумляет та же газета,— заставляет взглянуть обостренным взором на такие изрядно стершиеся в обиходе понятия, как бдительность, гражданская ответственность, нравственный климат, в котором мы живем. В борьбе с преступностью, которая развернулась в нашей стране, нам предстоит выступать объединенной силой, давая острую политическую оценку...» Дальше не надо, правда? Дальше каждый из нас сам легко может дополнить знакомый набор принципов, которыми нас призывают не поступаться авторы. Так и кажется, что Запевалову и его сообщникам придется держать ответ не перед судом времен перестройки, а перед Особым совещанием, которое, уж будьте уверены, и бдительность бы проявило, и дало бы острую политическую оценку.

Перед судом эту миссию взял на себя следователь УКГБ старший лейтенант Жданов. Я не просто прочитал — изучил те материалы дела, которыми Александр Николаевич подкреплял обвинения Запевалова в убийстве, хранении оружия и сколачивании банды,— работа ювелирная, подчас изящная. Это что касается Жданова-юриста. А вот он уже офицер госбезопасности, которая уголовщиной в чистом виде если и занимается, то чаще факультативно. Главная ее задача несколько иная, в чем мы сейчас и убедимся.

4 апреля 1989 года. Допрос Запевалова следователем Ждановым:

— Оказавшись за рубежом, кто-нибудь из вас планировал проведение каких-либо действий, направленных на подрыв государственной мощи СССР, интересов нашего государства?

— У вас было намерение установить контакт с зарубежными антисоветскими центрами? С западными спецслужбами?

Ответы, разумеется, отрицательные, но Жданов гнет свое:

— В конце концов вы все равно попали бы в поле зрения разведки той или иной страны, вас бы стали вербовать, стремились бы получить какие-то сведения. Не так ли?

В тот же день Жданов проводит очную ставку Запевалова с Андреевой — это она подсказала ему адрес притона, она способствовала убийству двух женщин. Это будет интересовать следователя? Не только. Вопросы Жданова к Андреевой:

— Вам известны случаи, когда Запевалов или Бердников совершали какие-нибудь антисоветские поступки или действия? Не допускали ли при вас какие-нибудь высказывания враждебного характера в наш адрес? Выражали ли они открытое недовольство советской действительностью? Не допускали ли высказываний политического характера?

Я все думаю: а если бы Жданов убедился в недовольстве обвиняемых советской действительностью, если бы доказал их высказывания политического характера, да еще враждебные,— не украсилось бы обвинительное заключение действовавшими тогда печально знаменитыми статьями 70-й и 190-й прим? Думаю, не хватило у следствия самой малой малости, потому что попытку перехода госграницы обвиняемым, а потом и подсудимым доказывали совсем уж жиденько. Ну, например, нашли при обыске два номера журнала «Вокруг света», а там две статьи — одна о Сайменском канале и статья о советско-финской дружбе — не факт? А акваланги — не факт? А чертеж приборной доски самолета АН-2 — не доказательство намерения этот самолет угнать и на нем улететь? Все это коварство подтверждено допросами, очными ставками, вещественными доказательствами, отражено в обвинительном заключении и внесено в приговор. И вместе с тем следствие при всем желании не смогло найти ни одного факта, который бы ответил на простейший вопрос: если банда создана, вооружена до зубов, ставит своей целью нападение на всех и вся, а потом и бегство за рубеж, то почему за год с лишним все ее участники занимались только болтовней, трепом, прожектерством и ни одним шагом не подтвердили этих намерений? В актив банды трудновато записать и убийство двух женщин, совершенное Запеваловым вместе с Андреевой,— во-первых, как доказано в суде, последняя не входила в состав банды и, во-вторых, для этого преступления не было использовано уже имевшееся оружие.

Оставим на время Запевалова — на нем убийство, а вот за что 9 лет лишения свободы получил Бердников и 5 лет Мосичев, которые и пальцем-то никого не тронули? За умысел? За намерение?

Представьте себе — в конечном счете именно за это. Потому всем троим — Запевалову, Бердникову, Мосичеву — вменили самую, пожалуй, коварную статью Уголовного кодекса РСФСР — 77-ю (бандитизм). Примечательно, что, впервые появившись в законе в 1922 году, эта правовая норма сохранила свою убойную силу и до наших дней, оставшись почти в неприкосновенности со времен гражданской войны и до наших дней. Назвать группу бандой можно при наличии трех несложных условий: во-первых, в группе должно быть не менее двух человек, во-вторых, она должна быть вооружена и, в-третьих, иметь конкретную преступную цель. Коварство этой статьи именно в том и состоит, что один только факт организации банды уже сам по себе образует оконченный состав преступления, хотя бы ее участники сидели сиднем и предавались мечтаниям. В сегодняшнем Курсе уголовного права мы, например, можем прочитать, что «состав бандитизма предполагает вину в форме прямого умысла». А вина эта, да будет известно, наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет или смертной казнью. Так что Бердников с Мосичевым еще должны благодарить судьбу, что так легко отделались за свои фантазии.

Стоит ли теперь сомневаться в моих предположениях об отчетливо видимой заданности в раздувании этого дела, о более чем очевидных целях невиданной пропагандистской шумихи вокруг него?

...Начальником УВД Воронежского облисполкома работает генерал-лейтенант внутренней службы Л. К. Резниченко. С этим высоким в МВД званием он пришел сюда в 1985 году, оставив в Москве не менее высокую должность начальника штаба союзного министерства. Штаб был создан светлой памяти генералом С. М. Крыловым, лихо разгромлен Чурбановым и под корень из-

ничтожен сменившим Щелокова Федорчуком. С Резниченко мне довелось говорить ежедневно, иногда даже более чем откровенно — это у генерала от своего предшественника, Сергея Михайловича Крылова. Так вот, когда соседнее с УВД ведомство с нечастым для него откровением знакомило меня с материалами своей блистательной операции по банде Запевалова, Леонид Константинович Резниченко возьми да и скажи: «Вы хотите понять, что такое наша доморощенная мафия? Тогда найдите в областной прокуратуре следователя Лихачева и попросите его рассказать, как рассыпалось в суде дело, которое он начал еще в восемьдесят седьмом году. Это о Брыче, том самом».

Дело, о котором говорил генерал,— в двенадцати томах, покоится сейчас в архиве облсуда, но пыли на нем нет. После убийства Брычева то один, то другой том требуют к себе и УВД, и УКГБ.

Начал читать документы и сразу же понял: вот она, не придуманная, не измышленная организованная преступная группа. Уголовники, судимые не единожды,— мясники Брычев и Мистюков, кладовщик Асафов, торговый руководитель Попов и, наконец, оперуполномоченный ОБХСС Митраков. Только такая спайка вчерашних зека, чиновника и милиционера позволяет создать банду, имя которой — мафия. Попробуй-ка совладай с таким содружеством! Если тебя, денежного человека, вычислили Брычев с Асафовым, если поиграли перед тобой хорошо накачанными мышцами или показали пару приемчиков, Попов слепил на живую нитку документальный компромат, а потом в РОВД этими бумажками тебе стал тыкать сам опер Митраков? Отчаешься, поверишь в горький исход, принесешь сколько велят.

Владимир Лихачев, следователь прокуратуры, освященное законом знакомство с группой Брычева свел не сразу. Летом восемьдесят седьмого розыск представил ему двух развеселых юношей — Марата Лямцева и Ричарда Яли. Промышляли они — и небезуспешно — на здешнем автомобильном рынке, назывались «кидалы». Продает, скажем, некто свой «жигуль» за хорошие деньги с рук, а Марат с Ричардом тут как тут. То вместо денег «куклу» подсунут, то вообще умыкнут. Веселость этих ребят Лихачеву сначала понравилась — показания давали лихо, гладко, не ершились, а потом и насторожила — уж не потому ли так торопятся они к приговору, что опасаются вывести следствие на более высокое свое окружение? Ведь помимо делишек на авторынке Яли с Лямцевым мошенничали и покрупному. Найдут желающих купить, допустим, видео и двухкассетник, возьмут деньги — и до свидания. И ведь не спасались потом бегством, не удирали, облапошенные встречали их, бросались едва не с кулаками и вдруг затихали. Ни заявлений в милицию, ни жалоб на публику. Боялись? Тогда кого же?

«Брычева!» — отгадал я, и Лихачев меня похвалил, сам он к этому выводу пришел с помощью ребят из розыска. Когда в оперативных сообщениях стали перед Лихачевым мелькать фамилии Брычева, Асафова, Мистюкова, Попова, он, как всякий нормальный следователь, порадовался такой удаче, а когда вышел на товарища Митракова Игоря Анатольевича, капитана милиции, оперуполномоченного ОБХСС Коминтерновского РОВД, выразился словами, которые мне повторить не пожелал. Можно себе представить, каких трудов стоило Лихачеву сбить эти двенадцать томов дела, крепко сбить, доказательно! Не стоит даже бегло пересказывать десятки эпизодов, подтверждающих преступления этой группы,— здесь и шантаж, и вымогательство и мошенничество, и, разумеется, рэкет. Любопытнее другое.

Кто-нибудь заметил, что организацию, созданную Запеваловым, я называл бандой, а компанию Брычева более деликатно — группой? Все дело в том, что знакомая нам 77-я статья УК столь же коварна, сколь и догматична. Преступники могут собираться вместе, ставить перед собой конкретные цели, могут запугивать потерпевших до обморока, пытать до бесчувствия, но если нет у них оружия — они не банда. Впрочем, в деле, о котором я сейчас веду разговор, оружие все-таки мелькнуло — и не допотопный пулемет вермахта, а новенький автомат сегодняшнего отечественного производства. Принадлежал он дружку Брычева Бавыкину, находился в автомобиле, в котором взяла их милиция. Ну и что? Бавыкин не чета дилетанту Запевалову: автомат мне достался по случаю, Брычев о нем и слыхом не слыхивал. Да и вообще, мол, знакомство их шапочное. Как бы там ни было, опровергнуть эту липу с доказательствами в руках следователь Лихачев не смог — вот вам и не банда. А юридического понятия организованной преступности у нас, кстати, до сих пор нет, и мне в связи с этим трудно понять, что именно имел в виду Верховный Совет СССР, обязывая нас бороться с этой самой преступностью, которой в жизни сколько угодно, а в законе вроде бы как нет. Но это к слову.

Итак, последний, двенадцатый том Лихачевым подшит, обвинительное заключение утверждено — что скажет суд? Прежде всего на первых же заседаниях все обвиняемые начисто отказываются практически от всех показаний, данных на предварительном следствии. Обвинение бросает в бой единственный свой резерв — свидетелей. Поздно! Один только глянет на скамью подсудимых и тут же лезет за валидолом. Второй кается, что на допросах испугался следователя, а у третьего вообще выпадение памяти. Что же касается Брычева, то ему вменяется в вину лишь один эпизод — вымогательство. Приговор — 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Асафову — 5 лет, Попову — 4, Мистюкову и Митракову — по 3 года условно.

Чтобы понять, что с Брычевым происходит после приговора суда, расскажу о преступлении, за которое он получил срок, третий в своей молодой жизни. Здесь появятся два новых персонажа — жестянщик комбината похоронного обслуживания Подтыченко и артист цирка Провоторов, которого в кругах, близких к Брычеву, именовали по кличке «Акробат», что было в прямом соответствии с его профессией. Свело их вместе то, что Брычев задумал сбывать на кладбище изготовленные его фирмой венки, а Подтыченко показал ему кукиш, ибо подобным промыслом занимался сам. На усмирение непокорного был брошен Акробат, но вдруг оплошал. Можно предположить, что кладбищенских дел мастер не только дал отлуп ходоку, но и выведал от него, откуда ветер дует.

Такого непослушания, такого коварства Брычев не прощал — Акробат был оштрафован на полторы тысячи рублей, которые покорно отдал в два приема. Я прочитал протоколы допросов на следствии Подтыченко, Провоторова, их очных ставок с Брычевым и друг с другом — никаких расхождений, вымогательство налицо. И даже тогда, когда Провоторов в судебном заседании объяснил свои предыдущие показания незаконными методами ведения следствия и отказался от них, суд вину Брычева счел доказанной. Казалось бы, если человеку предъявляют обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, а карают всего лишь по одной,— благодари судьбу. Но такой исход не для Брычева.

Сидя в камере следственного изолятора, он шлет друзьям письмо, случайно перехваченное охраной: Акробат пусть напишет еще раз, что его заставили, запугали, иначе, мол, самого посадят. Я, мол, испугался и все написал со злости на Брыча. А в конце ему надо добавить: «Ну где я мог взять тысячу рублей, а потом еще пятьсот? Я думаю, братва, что лучше его как следует запугать, но пока не бить».



Такие депеши перехватывали у Брычева и во время суда, они приобщены к делу и послужили для председательствующего веским доказательством того, что свидетель Провоторов изменил показания под угрозой расправы.

Не хочу домысливать, в чем эта расправа состояла уже после суда,— важен результат. А он таков. В августе 1988 года, через месяц после оглашения приговора, в Прокуратуру СССР поступает жалоба, исполненная изящным женским почерком, что крайне странно уже для первой же строки: «Я, Провоторов, занял центральное место в суде над Брычевым В. М., оказавшись потерпевшим, чего в действительности не было. И я хочу установить истину, так как из-за меня осужден невиновный человек. Я раскаиваюсь в своем подлом поступке. Я хочу жить честно. Деньги я действительно передавал, полторы тысячи рублей, но для покупки игрушки «Электрический зайчик», которую я обещал привезти для своих друзей. Я мастер международного класса по акробатике, часто бывал за границей. На допросах следователь неоднократно говорил мне, что, если ты не скажешь, что выгодно им, со спортом можешь распрощаться. А спорт для меня — это жизнь. Брычев не виновен!».

Мне любопытно: догадались ли в Верховном суде России, что переправленная им жалоба Провоторова написана женщиной? И могли они предположить то, что легко установили позже в Воронеже: Провоторов подписал то, что было написано рукой жены того самого Брычева, в невиновности которого он уверял. И опять же нам важен результат: 30 декабря 1988 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР своим определением отменила приговор Воронежского облсуда в отношении Брычева и направила дело на новое расследование.

Почерк жены Брычева Натальи я вскоре встречу еще раз, в заявлении на имя прокурора области Горшенева. 23 февраля 1989 года она пишет: «Прошу Вас изменить меру пресечения Брычеву В. М. в связи со смертью отца».

Как поступают прокуроры в таких случаях, что они могут сделать для облегчения страданий осужденного, у которого умер отец? Только одно: выразить соболезнование. Иного законом не предусмотрено.

Как же я ошибался, как был наивен! Уже на следующий день старший следователь прокуратуры Воронежской области юрист 1-го класса Федоров А. И. выносит постановление об изменении меры пресечения Брычеву В. М. Упомянув о том, что дело направлено на дополнительное расследование, следователь мотивирует свое предстоящее решение так: «По настоящему делу по различным статьям Уголовного кодекса осуждены к различным срокам наказания Асафов, Попов, Митраков, Мистюков, которые в настоящее время отбывают наказание в различных ИТУ и не могут повлиять на ход дополнительного расследования». Вывод: Брычеву В. М. меру пресечения с содержанием под стражей изменить на подписку о невыезде. Копию настоящего постановления направить начальнику СИЗО для немедленного исполнения.

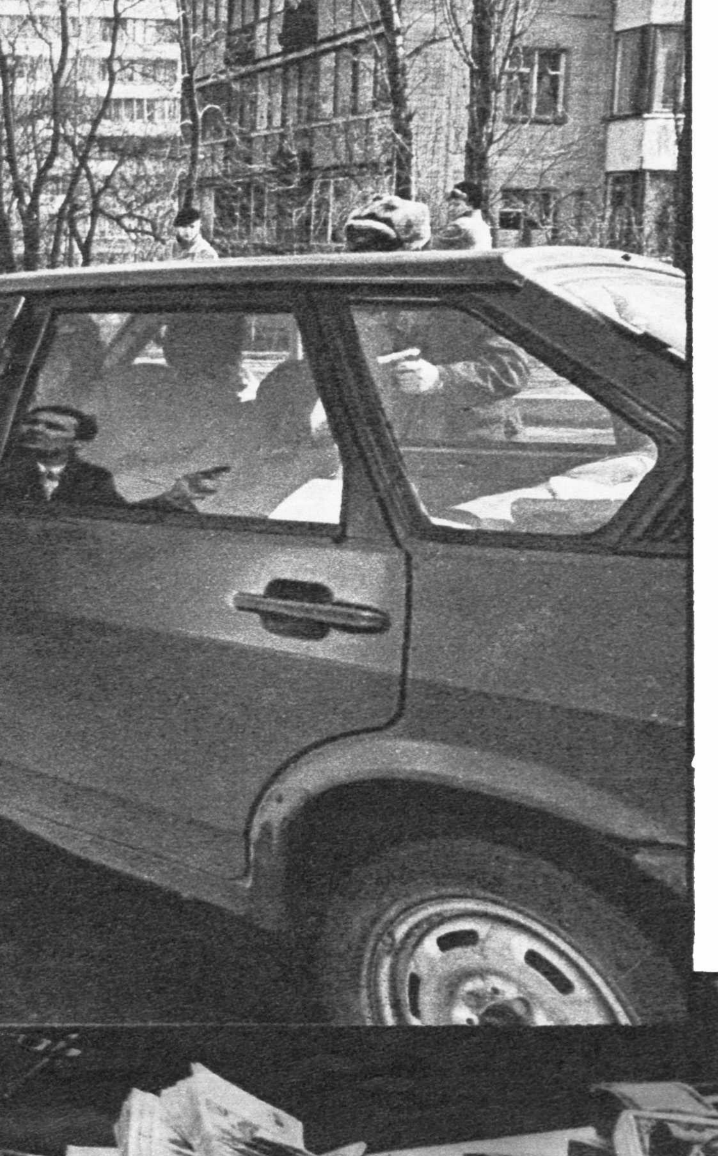


Фото Ефрема ЛУКАЦКОГО

Как бы я хотел понять логику юриста 1-го класса, из-под пера которого вышел документ настолько бессмысленный, что больше похож на юридический казус. Но важнее другое: выполняя, по сути дела, просьбу жены преступника, Федоров в своем постановлении на нее не ссылается, а придумывает иной, но столь же нелепый как с точки зрения закона, так и здравого смысла предлог для выхода на свободу Брычева. Почему? Что его заставило так срочно искать способ открыть тюремные двери для осужденного, дело которого предложено доследовать?

Как бы там ни было, Брычев, осужденный к трем годам лишения свободы, уже через несколько месяцев сменил тюремную камеру на домашний уют. Но до полного торжества еще далеко: формально следствие еще не прекращено. И 17 марта снова подает голос Акробат — Провоторов. Он пишет следователю Федорову нечто вроде докладной записки, на этот раз уже своим, то есть мужским почерком: «Сообщаю, что в праздник 8 Марта я посетил Брычева у него на дому и публично извинился перед ним в присутствии гостей. И Брычев сказал, что больше претензий ко мне не имеет».

Тут уж я никак не могу обуздать свою фантазию. Тем более что у меня есть теперь и наглядное подспорье: исполненное в цвете фото, на котором я вижу Брычева со товарищи за роскошно накрытым столом. И мне видится, как к этому столу подходит (или подползает?) обобранный, униженный, битый не раз Акробат и в присутствии закусывающих вымаливает у гневающегося Брыча отпущение грехов за однажды сказанную правду.

Впрочем, покаявшийся мог бы утешиться, если бы знал, что в это же самое время унижен еще один человек. В этом же марте старший следователь прокуратуры Федоров допрашивал старшего следователя прокуратуры Лихачева. Если перевести строгие формулировки правоведов на живой, человеческий язык, смысл вопросов допроса был примерно такой: кой черт дернул Лихачева сочинять эти 12 томов на Брычева?

Пожалуй, этот допрос своего же коллеги был единственным следственным действием Федорова при завершении всем осточертевшего дела. 24 марта Федоров вынес постановление о прекращении уголовного преследования. Обоснование: «Дальнейшие возможности для собирания дополнительных доказательств виновности Брычева В. М. исчерпаны».

Мне очень захотелось познакомиться со старшим следователем прокуратуры Федоровым А. И. Мне ответили: сразу же после завершения этого дела Федоров вышел на пенсию. Логично: сделал свое дело — уходи.

Лихачев между тем еще в прокуратуре служит, и ему этот допрос бывшего коллеги сейчас аукнулся, да еще как! Казалось бы, кому поручить следствие по делу об убийстве Брычева и тех его подельников, на которых сейчас вышли снова? Конечно же, Лихачеву! Но в том-то и закавыка, что допрос Лихачева в качестве свидетеля по прежнему делу сделал невозможным его участие в новом: закон запрещает. Оно поручено старшему следователю В. Курьянову. Начинать ему приходится с азов, устанавливать те обстоятельства, которые тому же Лихачеву знакомы до мелочей. Ворох информации растет, сроки жмут, арестованные, завидев нового следователя, кочевряжатся, и Курьянов увиделся мне вконец издерганным и суматошным, недоверчивым без утайки. Меня привел к нему его же начальник, представил, но Владимир Андреевич этим не удовлетворился, потребовал у меня удостоверение и придирчиво изучил на нем подписи и печати. Потом объяснил:

— Что, у одного Лихачева дело провалилось? У меня вот тоже — сыплется, серьезнейшее! Вот судят сейчас двоих, на них три убийства. Но с каким скрипом идет процесс! У меня такое впечатление, что преступники отлично осведомлены о том, что у меня для них припасено, какие козыри я еще брошу. Почему, спросите? Да потому, что они — давнишние, можно сказать, заслуженные агенты уголовного розыска. Я могу полностью исключить подозрение в том, что кому-то сейчас выгодно их отмазать, спасти от расстрела? Крыша у них надежная, верная.

Но вернемся все же к Брычеву. Выйдя из заключения, он сразу же стал наверстывать упущенное, размах его преступлений стал шире, он действовал наглее, увереннее.

Возвращались после пустячных сроков старые друзья: Мистюков, Яли, Бабыкин. Мистюков, он же Туан, засветился первым, его арестовал уже знакомый нам по запеваловскому делу старший лейтенант госбезопасности Жданов. Взял лихо, в отчаянном рывке на карнизе восьмого этажа. Сейчас мается: не допросы, а мука для следователя наших дней. Мистюков паясничает, черное называет белым, на свидетелей орет, те тотчас же все забывают. И Жданов, и Лихачев, не сговариваясь, твердили мне одно и то же — нужен закон о защите свидетелей и потерпевших, надежное обеспечение их безопасности. Нужно наконец разрешить использовать в качестве доказательств видеосъемки, применение других технических спецсредств — тот же рэкет, та же взятка даются без свидетелей, в отдельных случаях и милиция, и госбезопасность в состоянии запечатлеть своих клиентов на пленку, но какому суду она понадобится?

После убийства Брычева два соседствующих управления, УВД и УКГБ, провели совместную операцию, но и тут не обошлось без прокола, который пока объяснить трудновато: сбежал после ареста из изолятора Яли. Брали его долго, задействовали лучшие оперативные силы, и вдруг на́ тебе: ушел. С предположениями повременю, хотя более чем уверен в их правдоподобии,— идет расследование то ли головотяпства, то ли еще более худшего. С горечью мне говорили, что не так давно взяли с поличным двух взяточников — оперуполномоченных ОБХСС. Оба молоды, оба комсомольские функционеры, направленные в милицию для ее укрепления.

Уже знакомый нам начальник 6-го отдела УВД Куркин после одной из операций сказал мне:

— Поверьте, мы делаем все, что в наших силах, и даже больше того. И мы уже перестали жаловаться на былые беды: и оклады оперсоставу повысили, и техникой обеспечили. Но никто — ни мы, ни КГБ еще и близко не подобрались к «крыше» — высшему эшелону организованной преступности.

Эта крыша все еще не только недоступно высока для мастеров сыска и следствия. Она надежна для всей той громады преступности, которая разрастается под благостной ее сенью. Вспомним хотя бы те вопросы, которые я задавал своим рассказом: почему ушел от ответственности Брычев, а потом, злодействуя, не таясь, так долго разгуливал на свободе? За какие заслуги был условно-досрочно освобожден его подельник Мистюков? Каким образом сбежал со строек народного хозяйства еще один соратник Брычева — Лямцев? Кто все же открыл тюремные решетки Яли?

И, наконец, последний, самый для меня трудный вопрос: кому было выгодно устраивать такую шумиху вокруг дела Запевалова, этакую дымовую завесу, укрывшую до поры до времени воротил подлинной организованной преступности?

Вернувшись из Воронежа в Москву, я узнал о ликвидации здесь масштабной группировки «Орда». На брифинге в МВД СССР показали изъятые у преступников оружие, ценности, привели ошеломляющую цифру: в минувшем году изобличено 1310 организованных преступных групп. Победа?

— Мы терпим поражение,— сказал знаменитый полковник милиции Александр Иванович Гуров.— Мы отстали на 10—15 лет.

После поездки в Воронеж я склонен назвать цифру еще более внушительную.



СТРАННЫЕ ИГРЫ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В последний год в нашем хоккее произошли большие изменения, как, впрочем, и во всей нашей жизни... Можно относиться к ним положительно, можно — отрицательно, но они объективно существуют, и, вероятно, это примета времени. Самые прославленные наши хоккеисты играют в заморских профессиональных клубах. Плохо это или хорошо?

Мне вот что кажется очень странным. В нашем хоккее первая пятерка армейцев из сборной страны последнее время от сезона к сезону считалась лучшей. Такие, как защитник Фетисов, форвард Крутов, всеми специалистами признавались лучшими в практике мирового хоккея. Но если верить последним сведениям — а как не верить! — наши весь сезон в НХЛ играли неровно и, к нашему удивлению и стыду, просто слабо.

Наши журналисты изобретали различные оправдания — и так называемый языковой барьер, и акклиматизация, иной хоккей и иной зритель, время, необходимое для вживания в команды НХЛ, которые живут и играют на иных, профессиональных принципах. Конечно, это могло как-то влиять, но, убежден, не это главное. У каждого хоккеиста имелся большой запас мастерства, опыта, характера, а главное — каждый посвоему, творчески воспринимал хоккей. Что же случилось с ними, из-за чего никто из них не может быть сегодня признан лучшим в сравнении с профессионалами НХЛ?

И вот поползли слухи: мол, старательная игра наших не идет ни в какое сравнение с игрой лучших хоккеистов НХЛ. Наши просто слабее профессионалов...

Не хочу и не могу согласиться с такой оценкой. Стараюсь свое несогласие доказать.

Продажа наших хоккеистов за океан, да еще в профессиональные клубы,— это важная веха в истории нашего хоккея. Если вспомнить, что говорилось, писалось и делалось год назад по этому вопросу, то многое, очень многое представляется несолидным. Нигде не прозвучало, что направление наших хоккеистов в НХЛ — знаменательный акт, что и там они должны поддерживать престиж советского хоккея. Во всем этом звучал один мотив: сколько ребята там будут получать...

Маленькое отступление... Год назад появлялись, да и сейчас появляются, статьи о различных соревнованиях, в которых ведется разговор и об обиженных спортсменах прошлых лет. Отсюда — жалость к ним, желание многих спортивных руководителей, как бы извиняясь за промахи прошлых лет, компенсировать их сегодня материально. Спортсмены отправляются за рубеж, им находят высокие должности...

Прожив долгую и трудную, но счастливую жизнь, и не один, а в боевом расчете хоккеистов первых поколений, хочу сказать: не обижали спортсменов. Большинство из них были хорошо материально обеспечены. Заканчивая спортивную карьеру, они имели высшее образование, семьи, жили счастливо, не чувствуя себя в чем-либо ущемленными, им создавались условия для адаптации в новой для них послеспортивной жизни. Конечно, если сравнивать с профессионалами — Грецки, Лемье,— естественно, бедновато. Но это же не реальные сравнения, сравнивать нужно с уровнем жизни нашего народа, рабочего класса. Только тогда будет сохраняться симпатия народа к спортсменам, крепкая связь между ними...

Когда встал вопрос о направлении наших хоккеистов в НХЛ, по моему убеждению, Госкомспорт, Управление хоккея и Федерация не были готовы к принятию разумных, зрелых решений. Вот несколько примеров.

Будучи в те далекие месяцы в Канаде, я на обратном пути был вызван в Оттаву, в наше посольство. Мне показали сообщение из Москвы с фамилиями шести игроков, рекомендованных для направления в различные клубы НХЛ. Пять фамилий были мною вычерк-

нуты. Оставлен лишь Виктор Тюменев. При условии — если его всесторонне подготовят спартаковские тренеры. Тюменев — отменный распасовщик и настоящий боец. Еще пример: спрашиваю у Игоря Дмитриева: «Ты рекомендовал Пряхина в НХЛ?» «А что?» — отвечает. «А на чем он сможет успешно построить свою игру? У него же «соломенные» ноги, нет высокой техники, а главное — нет живучести!» Видимо, не найдя слов для возражения мне, Дмитриев ответил, что клубу нужен комбайн для заливки льда. А кто ответит за падение престижа советского хоккея?

И последний пример. Незадолго до отъезда за океан мне позвонил Фетисов и сказал, что хотел бы встретиться со мной. Приехал и попросил провести с ним тренировку. «Иди в команду! — говорю я ему.— К своим тренерам». «В команду не пускают. Тихонов уже месяцы со мной не разговаривает...»

Мы провели тренировку. Вячеслав выглядел тяжелым, хотя крепко старался. Он рассказал мне, что тренировался урывками, так как его, капитана, в свой клуб не пускали...

Вдумайтесь, любители хоккея,— интересная ситуация. Игроков, на протяжении 10 лет столько сделавших для клуба и сборной, буквально вышвыривают, выпроваживают за океан, вместо того чтобы достойно, торжественно проводить, дать наказ, пожелать удачи и прославления советского хоккея в НХЛ, к каждому отнестись заинтересованно. А здесь тренер с игроком разговаривать не хочет.

Спрашиваю Фетисова: «Как будешь себя вести, за тобой ведь будут охотиться?» Молчит, не знает. «В каком тактическом ключе будешь проводить первые матчи, а также матчи против сильного и против слабого противника?» Молчит. «Что главное в твоей самоподготовке?» И этого не знает самый опытный игрок нашего хоккея последних лет... Тренеры не готовили к самостоятельной работе. Не оказали помощи в последний момент. А если бы тренеры заинтересованно отнеслись к направлению своих игроков в НХЛ, они послали бы с ребятами за океан и своего тренера — во всяком случае, хотя бы на первые две-три недели.

Но если Сергей Макаров и пара защитников — Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов — понемногу выправляются, то Игорь Ларионов и Владимир Крутов, если верить информации из Канады, играли слабо. Команда «Ванкувер Кэнакс», как и в прошлые годы, не попала в финальную часть Кубка Стэнли. Вспоминается мне интервью, данное более месяца тому назад И. Ларионовым. Уж больно ему там, в Ванкувере, на побережье океана, все нравилось — тренеры не заставляют напрягаться, не ругают, не упрекают ни в чем, никто не следит за ними, живут спортсмены свободно и здорово, всего хватает. Да разве в этом счастье! У каждого жизнь в спорте довольно короткая. И ты ее хозяин. Никогда тяжелый, сложный труд в нашем хоккее не считался зазорным, никогда он не был спортсменам в тягость.

Результатом направления наших в НХЛ должно быть прежде всего обогащение нашего хоккея. Тренер должен ставить перед спортсменами вопросы, и спортсмены по возвращении должны суметь на них ответить. Причем исчерпывающе. К примеру, не раз на себе ощущали результативность канадцев. Узнать, проявить пытливость — задача, посильная каждому. А разве может оставить равнодушным полная отдача хоккею, боевитость и в хорошем смысле этого слова безжалостность канадцев? Как получается, что канадцы тренируются средне, а играют всегда здорово? И многие другие вопросы, на которые мы обязаны ответить.

А теперь хочу сказать о торгах спортсменов. Порядка здесь никакого не было. По-моему, нет и до сих пор. Дошло до того, что, к примеру, Фетисов чуть ли не сам заключал договор с НХЛ. Система, на мой взгляд, должна быть такова: тренер клуба дает рекомендации спортсменам, он знает лучше других заслуги хоккеиста, его состояние, нрав, уровень культуры, грамотности. Он знает, сможет ли без этого спортсмена обойтись, есть ли ему достойная замена. С его участием заключается договор. Тренер продолжает нести ответственность за спортсмена. Лишь в этом случае он по итогам сделки получает финансовый стимул, и, естественно, хотя направление спортсмена за рубеж — стимул моральный, о финансовой стороне дела тоже нельзя забывать. Оказалось, что у нас в хоккее не нашлось ни одного умелого коммерсанта. Ну кто же так торгует? Сразу всю пятерку! Я предлагал вначале одного — самого именитого и надежного — Макарова или Фетисова. В цене за них исходить из зарплаты Лемье или Грецки. Наши ни в чем не уступают именитым канадцам, и, если бы канадские боссы не были согласны, можно было не спешить и не соглашаться на меньшее. Надо понимать, что первый торг — главный, что по нему будет составляться такса на долгие годы для других спортсменов. Нам в этом деле не хватило ни знаний руководителей, ни дисциплины и скромности самих спортсменов.

Я пишу незадолго до открытия очередного чемпионата мира и Европы. Когда вы будете читать эти строки, уже будет известно, как выступила наша сборная.

ЦСКА во внутреннем чемпионате уступил динамовцам столицы. Это должно изменить и принципы комплектования сборной. Если раньше первые две пятерки армейцев брались за основу, то сегодня было бы верно тренеру сборной обратиться за помощью к «Динамо». Не мешало бы пригласить вместе с игроками их старшего тренера Владимира Юрзинова, который в ходе чемпионата выглядел гораздо лучше коллег по активности, руководству игрой, контакту с игроками, что в современном хоккее чуть ли не самое важное.

И еще мне казалось: а отчего бы не пригласить Крутова и Ларионова в сборную? Забыть о конфликте. И ребятам предоставить возможность себя реабилитировать.

К сожалению, В. Тихонов не обратился за помощью к Крутову и Ларионову, которые, бесспорно, усилили бы команду. Как я понимаю, тренер сводит счеты со спортсменами, которые, как он считает, его обидели. Позиция тренера непозволительна — сводить счеты и не беспокоиться о престиже.

А. ТАРАСОВ,
заслуженный тренер СССР,
кандидат педагогических наук

ОТ РЕДАКЦИИ.

К итогам хоккейного чемпионата страны мы опубликовали статью В. Дворцова «Без первой пятерки» («Огонек» № 14). Газета «Красная звезда» поместила под скромной рубрикой «Письмо в редакцию» материал, подписанный шестью известными деятелями армейского спорта. Называется материал «Время собирать камни».

Собранные камни авторы немедленно вытащили из-за пазухи. Залп в наш адрес: «непрофессионально анализируется», «примитивно трактуется», «усиленно выискиваются и чрезмерно выпячиваются негативные явления», «ошибочно истолковываются», «дискредитируются идеи», «подогреваются страсти», «навязываются чуждые... моральные ценности», «принижаются», «замалчиваются»...

Вот такой камнепад на скромный материал, который рассказывает о местах, занятых командами на чемпионате. Но автор имел неосторожность высказать свое мнение, что В. Тихонову стоит подать в отставку с поста главного тренера сборной страны. В этом и выразились «грубые оценки личностных и педагогических качеств» и все прочее вышеизложенное.

Что же хочется сказать авторам злого и грубого письма?

Дорогие и уважаемые товарищи!

Вы не совсем точны, усмотрев в нашей публикации стремление «развалить, дискредитировать в глазах общественности не только ЦСКА, не только В. Тихонова, но и весь советский спорт». Горячо любя и ЦСКА и советский спорт, мы все-таки хотели бы верить, что ЦСКА и советский спорт нашли свое земное воплощение не в В. Тихонове. Когда у человека не хватает аргументов отразить критику, он преувеличивает ее масштабы.

Кроме того, вы так определили силы, которые лелеют столь зловещий план: «Очень хочется журналу, а точнее группе лиц, чьи мысли и чаяния он выражает...»

Товарищи, число «группы лиц», чьи мысли и чаяния мы выражаем, указано на второй обложке цифрой тиража, и, видимо, надо быть предельно осмотрительным, вежливым и самокритичным в попытках двумя-тремя словами разоблачить эту самую группу лиц.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

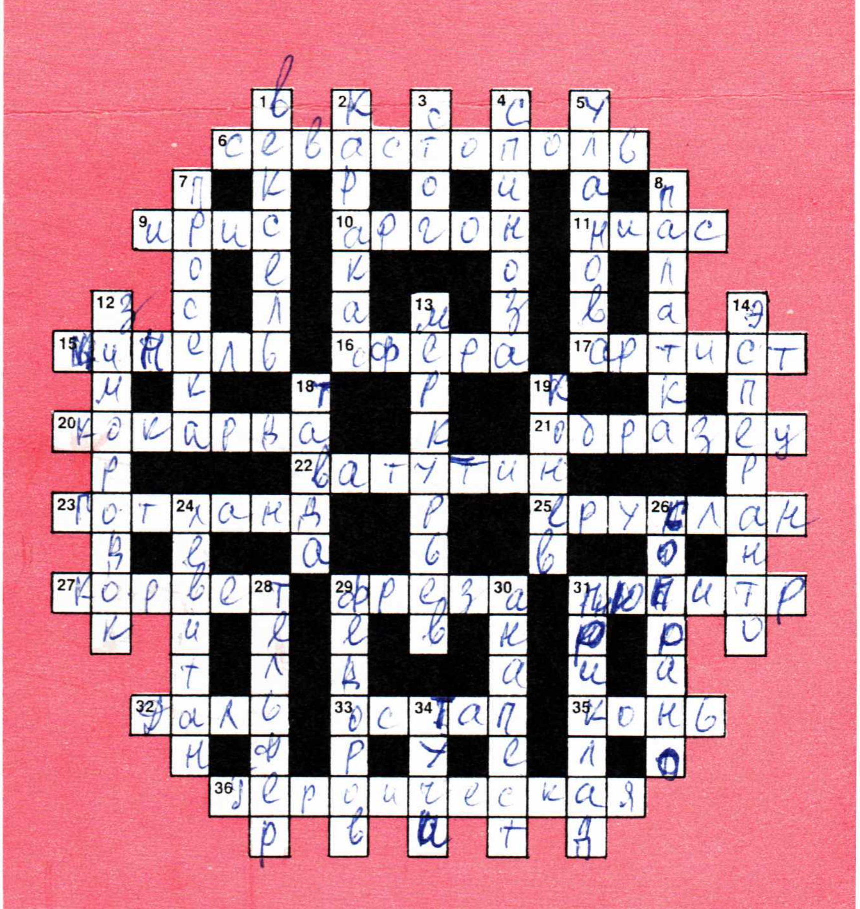
Премия Союза журналистов СССР за лучшую журналистскую работу 1989 года присуждена в числе других редактору отдела внутренней политики журнала «Огонек» Анатолию ГОЛОВКОВУ за политические очерки «Время на размышление», «Затмение», «Полураспад» и другие.

От всей души поздравляем нашего коллегу!

«Огоньковцы»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Город-герой. 9. Сорт конфет. 10. Химический элемент, инертный газ. 11. Остров в Индийском океане, принадлежащий Индонезии. 15. Форменное пальто. 16. Поверхность шара. 17. Рассказ М. Горького. 20. Значок на форменном головном уборе. 21. Показательное или пробное изделие. 22. Советский военачальник, командующий фронтом в Великую Отечественную войну. 23. Остров в Балтийском море, принадлежащий Швеции. 25. Приток Волги. 27. Парусный военный корабль. 29. Режущий многолезвийный инструмент. 31. Подставка для нот, книг. 32. Русский писатель, лексикограф, этнограф XIX века. 33. Персонаж повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 35. Шахматная фигура. 36. Симфония Л. Бетховена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежное обязательство. 2. Столица Венесуэлы. 3. Скирда. 4. Нидерландский философ-материалист XVII века. 5. Балерина, дважды Герой Социалистического Труда. 7. Дорога в лесу. 8. Ларек. 12. Птица, обитающая по берегам рек и озер. 13. Народный артист СССР, снимавшийся в фильме «Верные друзья». 14. Искусственный международный язык. 18. Приток Тобола. 19. Маршал Советского Союза. 24. Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. 26. Самый высокий певческий голос. 28. Грузоподъемное устройство внутри цеха. 29. Руководитель партизанского движения, дважды Герой Советского Союза. 30. Трехсложная стопа в стихосложении. 31. Часть ложа огнестрельного оружия. 34. Стихотворение М. Ю. Лермонтова.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подснежник. 8. Атос. 9. Ромб. 10. Моор. 11. Селен. 12. План. 13. Тариф. 15. Чехов. 17. Парнас. 19. Швейк. 20. Демонстрация. 21. «Олеся». 23. Янтарь. 26. Танец. 30. Гулиа. 31. Волк. 32. Моряк. 33. Киль. 34. Кипа. 35. Такт. 36. Первомайск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россини. 2. Диаметр. 4. Сурепка. 5. Жабинка. 6. «Отелло». 7. Бобров. 11. Спелеолог. 14. Фейерверк. 16. Время. 17. Проня. 18. Сталь. 19. Шмидт. 22. Салгир. 24. Новиков. 25. Реклама. 27. Африка. 28. Фальцет. 29. Аметист.



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЯТИСЕРИЙНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ «МЫ» — НОВАЯ РАБОТА ИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО РЕЖИССЕРА ЮРИСА ПОДНИЕКСА

Отклики прессы после показа фильма по английскому телевидению:

«Обсервер»: «Очень редко фильмы занимают место в истории тех конфликтов, которые они описывают, и то, что фильму «МЫ» это удается, приводит его ближе к понятию «шедевр», чем какой-либо документальный фильм, увиденный нами за последнее время».

«Телевижн-таймс»: «В стране, где единая идеология доминировала более 70 лет, этот фильм — своего рода плюрализм-отмщение, восхитительный и волнующий».

«Индепендент»: «Непредсказуемая работа Подниекса и его склонность чередовать пафос с банальностью ставят материал над всеми аналогичными фильмами этого периода, и, похоже, сюрпризам нет конца».

МЫ ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРОКАТ ФИЛЬМА «МЫ» В НАШЕЙ СТРАНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЗНАКОМУЮ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ФИРМУ «ОГОНЕК-ВИДЕО».

Желающие иметь видеокассеты с записью этого фильма могут обратиться к нам по адресу: 117313, Москва, аб. ящик 843, тел. 212-15-79.

Напоминаем также, что по этому же адресу вы можете прислать заявку на подписку «Огонек-видео» за этот год и выпусков «Огонек-видео» за 1989 год.

40 коп.
Индекс 70663